

Любовь

Медведева



## КАРТОННЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

### ДРУГИЕ ИГРЫ

Однажды судьба меняется раз и навсегда, словно кто-то ради шутки ломает картонный калейдоскоп – цветные стеклышки уже не складываются в чудесный узор, а рассыпаются в беспорядке. Отдельные эпизоды жизни порой похожи на сцены из спектакля, иногда кажется, что часть эпизодов придумал сумасшедший. Так или иначе, с подмостков тебя никто не отпускает, и вольно-невольно играешь свою роль, вернее, ролей множество, а ты один: то жертва, то глупый мститель, то клоун, то герой.

### ЭТЮДЫ

Из Зырянска вернулась Светлана Шувалова, и мы сблизились.

Девчонки часто в ту пору приходили ко мне ночевать, излить романтическую печаль, рассказать о новом знакомстве, мне случалось оказываться поверенной многих личных секретов, и я со всей «мудростью», полученной из книг или из подобных излияний, бралась что-то советовать. А еще ворожила на картах, и гадания почему-то часто сбывались, может, оттого что мне хотелось для подружек только лучших перемен, но порой сам разговор смягчал наши печали – и мы принимались внезапно смеяться, как в случае со Светой.

*«Хохотали мы до часу ночи, как смеются люди, которым нужно смеяться, чтобы жить... Говорили мы и о стихах, читала ей свои, рассказывала, как пишу, и она – мне». (01.11.1971. Дневник)*

Света ходила в театральную студию, ее дядя работал в театре одним из ведущих актеров, поэтому мы проникали в театр порой совершенно бесплатно. Возвращались со спектакля иногда в первом часу ночи, но времена были другие, и нам даже не приходило в голову чего-то бояться. Мы в ночь-полночь, окрыленные игрой актеров, спешили домой и потом целую неделю обдумывали впечатления от спектакля. Провинциальный театр для горожан, влюбленных в лицедейство, в семидесятые был даже важнее, чем для москвичей «Современник».



*«Вспомнился мой поход в театр. Света меня провела, и мы смотрели спектакль с балкона, но видно было отлично. Купили конфет и лимонаду, чем усилили своё удовольствие. Как хорошо приобщаться к чуду искусства, душа очищается, освежается, умнеет... Вечер, проведенный в театре, был маленьким чудом, тем более что актеры играли роли почти все очень хорошо и отлично. Народу было много, и аплодисментов тоже. Сам спектакль яркий, своеобразный, интересный. Корнеев (дядя Светы) был бесподобен... Я приду в стены театра еще не раз это храм, где отшлифовывается душа...» (25.11.1971. Дневник)*

Увлечение театром стало для меня откровением, сам игровой стиль жизни и прежде привлекал меня, и частенько в сознании не было границы между театром и реальной жизнью. Еще с детства у меня обнаружилась склонность проживать придуманные истории в своем воображении, в дворовых играх, где исполняла разные роли: врача, учительницы, феи, мамы нескольких деток, я увлеченно перевоплощалась в персонажи.

В юности мне по-прежнему нравилось придумывать похожие на маленькие спектакли ситуации и незаметно для других играть в них главные роли. Желание побыть не собой, а неким придуманным человеком, подобно жажде, мучило меня. Когда Света приходила ко мне ночевать, мы разыгрывали среди ночи спектакли с переодеваниями, заматывались в ткани из маминого сундука, одевались весьма причудливо и опять, как когда-то во дворе, мне доставалась роль неприступной красотки. Это в жизни я казалась себе толстой и неуклюжей дурнушкой, а в спектакле свято верила в свою неотразимость. Светка приносила коробочку грима, разрисовывала наши лица, и мы, преображенные, казались себе первыми красавицами.

Порывистость и страстность Светы в роли моего поклонника, по-настоящему театральная, показывала её незаурядный сценический талант: с такой горячностью она перевоплощалась, ткань, изображающая некую хламиду, начинала сползать на пол, трагедия превращалась в водевиль – и смех наш трудно было унять.

А увлечение театром только набирало силу, и мы ходили в тот театральный год на спектакли чаще, чем в кино, и с замиранием сердца следили за игрой актеров.

*«Впечатлений столько, что пересказать трудно хоть частицу. Спектакль "Всего одна жизнь" интересен, мало того, очень хорошо поставлен. Это о наших днях. Большое, волнующее, глубокое впечатление оставляет он в душе. Чистым ветром будто хлынуло в душу, в глубину. Игра актеров, основных персонажей, хороша, глубока». (05.12.1971. Дневник)*

Тем временем Света решила выйти замуж за высокого, нескладного, худощавого парня, с довольно добродушным характером, которому она нравилась еще в эпоху проживания в Зыряновске. Сладилось всё довольно скоро, – и летом мы гуляли на первой среди «костровцев» свадьбе, все многочисленные гости – родня и друзья – много пили, пели, плясали.

Запомнился эпизод. Мы стоим на повороте лестничного марша у большого окна, самая младшая из нас, Таня Кондрашина, спрашивает невесту, весело ли выходить замуж, и добавляет, что сама она собирается в монастырь. Вся компания дружно смеется, нам хорошо, в окно долетает аромат цветов, сама любовь разлита в ночном воздухе, жизнь впереди кажется огромной, полной неожиданностей и приключений. Галка Ли, я, Лариса Гончарова, Саша Романов и невеста стоим,

обнявшись, кружком и почему-то во весь голос поем ну совсем не свадебную, но одну из любимых в литературном кружке песню «Отговорила роща золотая», потом невеста принимается плакать навзрыд, а девчонки утешают похудевшую, легкую как тень невесту, дунешь – и улетит! Невеста упорхнула в новую, еще не понятную для нас, взрослую жизнь. А первый день Нового года огласил крик новорожденной дочки Светланы – Леночки.

## ЖИВУТ СУДЕНТЫ ВЕСЕЛО

Студенты, как правило, во все времена народ нерадивый, норовящий улизнуть с лекций. Тот не был студентом, кто не спал под бляенье нудных преподавателей прямо на лекции, кто увлеченно не болтал с соседом по столу, когда стоящий за кафедрой вещал прописные истины по научному коммунизму. Ей-ей, я не стала исключением, все студенческие грехи мне были знакомы не понаслышке: мы убегали с Наташкой Степановой с последних пар в «Лакомку», в кино, порой ради самого чувства опасности попасться преподавателям на глаза, крались к вешалке с замиранием сердца.

Больше рисковала я, поскольку куратором нашей группы назначили Надежду Ник. Бельчужевскую, грозу всего факультета, старую деву, сутулую и костлявую, с лица которой не сходило устрашающее выражение: носик башмаком, губы в ниточку, глаза смотрели пристально и сверлили студента насквозь. Очки в темной оправе усиливали эффект угрозы, боялись ее все, у кого она вела практикум по русскому. Нас, группу «Г», она сразу честно предупредила, что другие студенты пройдут один круг ада на ее занятиях, а мы по благу все девять.

Смешно вспомнить, как в любой, порой очень тесной аудитории вся группа плотно, плечом к плечу усаживалась на двух последних рядах, в надежде, что недреманное око Бельчуи не заметит хоть кого-нибудь и не применит к страдальцу очередной пыточный опрос по заданию. Но не тут-то было, даже со своим слабым зрением она не только видела каждого, но и чуяла степень исходившего от студента страха, и, конечно, с изощренным умением призывала к ответу девушек, очумевших до ступора. Студенты видели, что их ухищрения напрасны, но вновь и вновь, как тупые бараны, прижимаясь друг к другу, втискивались на два последних ряда.

Боялись Бельчужую все поголовно, любимчиков у неё не было вовсе, самые первостатейные отличники, а их в нашей группе было человек семь, бледнели от одного взгляда улыбающейся очковой змеи. Да ей, мне кажется, доставляло удовольствие находить промахи именно у «зубрилок». Мое чутье к языку оставляло желать лучшего, она это знала, однако трепала за холку редко и без особого ехидного удовольствия.

В какой-то момент я совсем потеряла страх, надоело бояться, довольно часто не была готова к занятию по современному русскому, но трястись перестала и частенько подтрунивала над общим священным ужасом, а иногда убегала с занятий. Великим счастьем было, и не только для меня, сдать у Бельчуи на трояк. Помню, вылетели мы после экзамена из аудитории с Валею Пегусовой, студенткой, в отличие от меня, более грамотной по языку и старательной, кинулись друг другу в объятия, закружились от радости и завопили:

– Ура! Трояк!

Трояк нашего куратора дорогого стоил, грамотность наша после ее занятий возростала настолько, что позднее, на практике в школе, мы легко находили ошибки даже у отличников. Вышколила она нас, натаскала на знаки препинания отлично. В сущности, она была неплохим куратором, всегда приходила на экзамены: по истории, по литературе и т. д., когда сдавала наша группа, и что интересно, её утешающие реплики помогали собраться, а иногда благодаря им принимающий экзамен преподаватель почему-то смягчался и ставил оценки гораздо выше нашего уровня знаний.

На первом курсе, в летнюю сессию, вместе с Наташкой Степановой мы готовились к экзамену по истории КПСС. Наше «усердие» оставляло желать лучшего: уехали к нам на дачу, разошлись по разным углам с учебниками. Наташка скрылась в доме – и скоро я услышала ее уютное похрапывание, а я, положив книгу на живот, разлеглась под кустиком в тенечке, но за пару часов так и не открыла учебник.

Какая там история КПСС, когда вокруг такая благодать? Наташка резвилась вовсю: садилась посреди грядки клубники на горшок, закрыв его длинной юбкой мамино платья, которое висело на ней, как на вешалке, принималась петь песни и есть клубнику, я смеялась до упаду, а мою приятельницу несло вперед со свистом. Завидев рядом с дачей ребят нашего возраста, она скоренько соскакивала с горшка и бежала нырять в большую бочку с водой, и, выглядывая из нее, умудрялась знакомиться с мальчишками и назначать им свидания. Вечером, напялив на голову войлочную панаму, Наташка брала в руки сачок для ловли бабочек и, держа его наперевес, как ружьё, прыгала на крыльце и орала во всю головушку:

– Я – дурик дуремар! Кошмарнейший кошмар!

До полночи резвились, а утром, а оно у нас началось часов в 12, попытки позаниматься повторились, но срочно захотелось на реку, потом мы забрались в малинник, исцарапались: рясная и крупная малина-вислуха оборонялась колючками от нашего нашествия с тем же энтузиазмом, с которым мы упорно лезли в ее дебри. Навевшись малины, развалились в тени. Какие экзамены, если кругом солнце, лето, если смех разбирает без всякого повода?

Вечером пора домой, хотя бы полистать учебник, но разболелась голова, и утром я пошла на экзамен, почти уверенная, что завалю. Девчонки метались по рекреации, лихорадочно листая конспекты, поэтому я решительно шагнула за дверь, взяла билет и подумала, что очень повезет, если на трояк наскребу. Тут ко мне, видя смятение на лице, подошла наша куратор и стала успокаивать:

– Не надо волноваться, ты же хорошая студентка и в прошлую сессию этот предмет сдала отлично...

На что я резонно, сознавая комичность ситуации, ответила:

– Ну, то полгода назад было, – и грустно усмехнулась.

Рассчитывать приходилось только на мое умение из пальца высосать рассказ и на русский авось. Пора отвечать.

«Преподаватель Петров в благодушном настроении, это хорошо. Но не глухой же он», – рассуждаю я в эту секунду, а мой ответ уже несется по горам, по долам, там, где надо добавить конкретики, я строчу как из автомата про проходивший в прошлом году съезд колхозников, про цели и задачи. Преподаватель под лучами солнца полусонно улыбается и, недослушав, ставит какие-то закорючки в зачетку, которую я хватаю, не глядя, – и вылетаю из аудитории.

Невероятно, но там черным по белому нарисовано «отлично». Сдавали историю с разницей в один день. Наташка успела немного позаниматься – и получила четверку, на что я ей заметила:

– Ты явно переучила, бери лучше с меня пример.

## ПОСПОРИТЬ С УМНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Несмотря на подобные казусы, учиться в институте мне нравилось, интерес подогревала влюбленность в литературу, которая помогала одолевать будничную рутину, а писать рефераты, доклады, курсовые я быстро принооровилась, даже напряженное время экзаменов пришлось по душе: можно было наедине поговорить, а то и поспорить с умным человеком, с преподавателем. Поиск, вдумчивое чтение даже знакомых произведений много занимательнее прежних школьных постулатов, закрепленных в унылых учебниках. Слава Богу, что почти все лекции читали талантливые педагоги.

Помочь почувствовать прелесть русского языка пытались многие лекторы, по диалектологии, по исторической грамматике, но в полной мере это удавалось лишь одному преподавателю, Чайковской Надежде Николаевне, которая изменила наше представление о языке с первого занятия по введению в языкознание. О прелести языковых конструкций она поведала нам так увлеченно, словно речь шла о захватывающем приключении.

Затаив дыхание, студенты слушали, а она вела за собой в мир, где из живых слов великорусского языка, чудесно звучащего, складывались пословицы, былин, песни. Она намеренно нарушала привычку большинства преподавателей, особенно в школе, говорить о русском языке не как о системе букв и знаков, скучной и малопонятной, а как о живом источнике силы народа, о мощной звуковой и смысловой стихии, без которой невозможны драгоценные открытия духа – великие литературные произведения.

Если бы не лекторское мастерство Надежды Николаевны, если бы не ее влюбленность в свой предмет, не зачарованность тайнами русского языка, мы бы вышли из стен института туповатыми заучками, умеющими внушать ученикам только сухие формулы правил. Внешне обычная, худенькая, темноволосая и светлоглазая женщина выходила за кафедру – и моментально преображалась: глаза широко распахивались и сияли, каждый мускул на лице пел восторженную песню во славу прелести языка – и в этот момент она становилась особенной, прекрасной, казалось, вот-вот – и она улетит.

Несколько позднее на семинарских занятиях Надежды Николаевны по лингвистическому анализу мы кропотливо изучали чеховские рассказы, лермонтовскую прозу. Только после такого занятия «Тамань» наконец заиграла всеми красками, я поняла, с помощью каких параллельных конструкций создается особый музыкальный строй этой главы, откуда берется ощущение таинственности, причем, рассуждая о принципах анализа, преподаватель учила самым нащупывать языковые секреты писателя. При этом часто применялись методы математические.

Вглядывание в глубины текста произведений русской классики захватывало меня как самая азартная игра. Часто тянула руку именно на этих занятиях, стремясь вслед за преподавателем разгадать еще один литературный ребус, нередко ошибалась, но там, где требовались не академические знания, а страсть к поиску,

мне было интересно, а результаты падали зернами в почву души и обязательно потом всходили, как случилось потом с прозой Чехова. Если бы не встретилась мне Надежда Николаевна, теперь знаю точно, фейерверк бурных юношеских чувств не превратился бы в жаркий огонь поэзии, по-настоящему слышать, чувствовать молитвенную силу слова научила именно она.

Пожалуй, самым ярким преподавателем на кафедре литературы была Элла Зиновьевна Юфа, статная пожилая ленинградка лет пятидесяти, седые, чуть вьющиеся волосы обрамляли ее по-восточному прекрасное лицо, еврейская горькая мудрость светилась в ее темных ласковых глазах. Курс литературы двадцатого века она читала, слегка прищелкивая зубами, с упоением, все стихи только наизусть, да и всю теоретическую часть произносила величаво, как проповедь, не заглядывая в конспекты. Преподаватели и студенты ее любили, а она особо выделяла среди всех учащихся талантливых, пишущих, – и, с ее легкой руки, мне и товарищам по «Лире» многое прощалось. Отменных лоботрясов Веригина и Романова порой чудесным образом переводили с одного курса на другой, нашим поэтическим потоком гордилась Элла Зиновьевна и вслед за ней весь факультет. Мы в ответ охотно выступали на студенческих вечерах, ни одна стенная газета «Факел», в которой я сотрудничала, не обходилась без подборки стихов наших ребят из «Лир».

Больше других ребят-поэтов Элла Зиновьевна привечала Сашу Романова, считала его бесспорно талантливым. Жил он неподалеку от Юфы и частенько встречал её во дворе, рядом с домом, когда она шла подкрепиться в соседнюю столовую. Он непременно останавливал Э. З. и читал ей новые стихи во весь голос, театрально размахивая длинными руками.

Прохожие оборачивались на происходившее действие, а Саше было всё нипочем, он парил над вершиной Парнаса. Элла Зиновьевна всякий раз радовалась этим негаданным встречам, а когда я приходила к ней в гости, она с восторгом и умилением рассказывала об очередных шедеврах моего бывшего сокурсника, на ее лице светилась при этом горделивая улыбка, ведь это её ученик становился все более мастеровитым поэтом. После окончания института я иногда заглядывала на чашку чая к своей любимой институтской преподавательнице, хотя прежде этого никогда не делала, не хотела прослыть подхалимкой.

К этому времени Юфа ушла на пенсию, но по-прежнему ее главной любовью оставалась литература, особенно поэзия. Я ей читала свои сочинения, она одобрительно кивала головой и подливала мне в чашку чай. Мы сидели в низенькой, нелепо скроенной хрущевке, в окружении книжных шкафов, другой мебели, кроме круглого стола и дивана, в комнате не было, но и на столе, и на диване лежали книги и толстые журналы. Не создавалось ощущение беспорядка, фолианты и периодика высились аккуратными кипами, но возникала мысль, что именно они главные квартиросъемщики, главные любимцы хозяйки. Вся её жизнь вырастала из книг и держалась на поклонении литературным талантам. Когда-то у неё была семья, но об этом она никогда не говорила, войну она перенесла в Ленинграде, долгое время жила вдвоем с мамой, в этой самой хрущобе.

В центре стола, в красивой рамке, всегда стоял портрет молодой и сказочно красивой женщины, элегантно и модно одетой. «Это моя мамочка-красавица», – с особенной теплотой сказала Элла Зиновьевна, когда я впервые оказалась у нее в гостях. У Эллы Зиновьевны была иная, учительская манера одеваться: три

платья, довольно тёмных, скроенных по одной выкройке, которые освежали или красивая брошь, или затейливый воротничок. На плечи она всегда накидывала очень широкие, длинные ажурные шарфы, кокетства ни на йоту, но свежесть, чистота, предельная аккуратность подчеркивали интеллигентную горделивость, почти царственность ее облика, она своей повадкой и лицом напоминала мне пожилую, располневшую Ахматову.

После ухода на пенсию она заметно сникла, но встречала гостей с радушной грустной улыбкой, платья были всё те же, но она похудела и смотрела на пришельцев с затаенной тоской, болезни и одиночество становились ее постоянными спутниками. Иногда судьба человека прочитывается в его облике, в обстановке его дома. Образ Эллы Зиновьевны, встречи с ней чудесным образом позднее отразились в стихотворении «Альбом».

Та женщина в заштопанном халате  
откроет дверь –  
и вас теплом охватит.  
Она руки коснется невзначай  
и отойдет...  
Расплескивая чай,  
наполнит два фаянсовых бокала.

Скрывая боль, заговорит:  
«Устала  
от тишины.  
Мне нет покоя в доме:  
он, как колодец высохший, огромен,  
пустой и гулкий,  
без живой воды  
ребячьих шалостей...  
Чернильные следы  
на скатерти стираются.  
Потух  
веселый шум.  
Все чинно, на местах...  
Но по ночам, отталкивая страх,  
я научилась даже думать вслух...»

Себя на полуслове оборвет,  
погладит синий мягкий переплет,  
альбом откроет и покажет снимки.  
Смеются дети, и сидят в обнимку  
ОН и ОНА, наивны и юны...  
Июнь. Жара.  
Дней десять до войны.

С каждой встречи я уходила вдохновленная открытием неизвестного до этого поэта, как случилось с Борисом Чичибабиным. В одной из поздравительных

открыток Элла Зиновьевна написала, что заболела поэзией Бориса Чичибабина. Я поспешила найти его подборки в толстых журналах – и вскоре полюбила стихи этого поэта так же горячо, как Элла Зиновьевна. Когда довелось увидеть поэта по телевизору, услышать его гортанное, даже несколько трубное, зовущее за собой чтение стихов о стране, которую мы проглядели и проворонили, Чичибабин стал родным и дорогим. Литературные сплетники разносили о нем дурно пахнущие истории, придирались даже к фамилии поэта, но рассказы характеризовали темную сущность самих завистников и пустозвонов от искусства, а поэзия Чичибабина звучала подобно вечевому колоколу тогда, когда смолкли, притихли помятые временем поэты-эстрадники.

Один из моих литературных друзей-собратьев горячо невзлюбил стихи Чичибабина, но я не могла и не хотела отвернуть свою душу от звучных, написанных крупными сильными мазками стихотворений. И первая радость открытия поэта, отношение Эллы Зиновьевны к его творчеству, ее сияющие глаза в момент чтения одного из стихотворений наизусть, с характерным лишь для неё вкусным прицелкиванием, вспоминались мне всегда, когда собеседник пытался отвлечь меня от поэзии Бориса Чичибабина. Вскоре я посвятила ему стихотворение.

Российское слово раздольное, плавное,  
как поступь широкой реки:  
Ползвуча еще – и откроется главное  
магическим жестом руки.

Гортанным, глухим, поднимающим голосом,  
шершавой сухой пятерней  
зывает поэт, как бунтующий колокол,  
над горькой глухой стороной.

Драгоценные книжные стопки в комнате Юфы лежали повсюду, и некоторые я уносила с собой полюбоваться, а кое-что доставалось навсегда, например, воспоминания Маргариты Алигер об Анне Ахматовой, одни из самых ярких, картинных, сердечных.

Некоторые книги дозволялось только полистать, среди них альбом художника Ильи Глазунова. Э. З. умела вовремя дать в руки нужную, жизненно необходимую книгу. Этот не очень объемный альбом сразил меня наповал, когда увидела убиенного царевича Дмитрия, а следом лицо старенькой женщины в простеньком платочке, в глазах которой стояли скорбные слезы, – я заплакала навзрыд.

То, что другим давало занятие экстримом, мне дарили книги и разные виды искусства. Не скажу, что слишком просвещена в этом обширном, разнообразном мире, но живопись, музыка, театр, прикладное искусство и поэзия пожаловали мне столько разноликой красоты, что и мое творчество и судьба порой волшебным образом преобразались даже от мимолетного соприкосновения с ними.

Приходила к Элле Зиновьевне изредка, работала в ту пору инженером по технической информации, но творчество, размышления о литературе остались более важной стороной моей жизни. Неожиданно открыв для себя особенные, прежде незамеченные стороны произведений А. П. Чехова, начала их исследо-



вать, используя методы лингвистического анализа, особенно заинтересовали знаковые для меня тексты. В конечном итоге принесла наброски Э. 3., и она не только одобрила, но и предложила выступить по этой теме на преподавательской конференции. Так постепенно почеркушки для собственной радости познания превратились в литературно-лингвистический анализ: днем я работала инженером, а ночами писала доклад по чеховской прозе. Доклад одобрили, дали наставника – и впереди, как я надеялась тогда, маячило обучение в аспирантуре.

Размышлять, исследовать мне нравилось всегда, думала, в итоге стану литературоведом, но судьба решила иначе: удар концом трехметровой лестницы по голове, сначала показавшийся безобидным, выбил меня из седла – и вскоре я поняла: воспаление сосудов головного мозга – непреодолимая преграда между мной и аспирантурой.

## ШКОЛА И ПЕРВЫЕ ГАСТРОЛИ

После окончания института полгода на полставки работала в школе, которую когда-то закончила. Взяли меня, как вскоре выяснилось, из весьма меркантильных соображений: отец мой занимал должность начальника службы связи в «Алтайэнерго», – и директор школы вместе с завучем решили, что я могу быть им полезной, о чем, через месяц после начала моей преподавательской работы, мне и сообщили. Я, святая комсомольская простота, удивилась – и прямым текстом отказала, хотя отец, скорее всего, без особых затруднений оказал бы им услугу, связанную с установкой телефонов.

С этого дня завуч Мария Алексеевна, выжившая из школы не одного талантливого преподавателя, взялась за меня. М. А. без конца напрашивалась на уроки, а я, глупенькая, старалась следовать ее замечаниям: не спала ночей, изготавливая горы наглядного материала, к каждому занятию готовилась как к сражению, но, что любопытно, число претензий ко мне не уменьшалось, а прямо пропорционально моим стараниям возрастало. На педсоветах мои прежние постаревшие учителя, лучше меня понимавшие ситуацию, откровенно мне советовали бежать из школы подальше. Когда наступили зимние каникулы, я едва держалась на ногах, похудела на несколько размеров, носом кидалась кровь.

Сломался протез – и я уехала в Алма-Ату. Если прежде я писала рассказы о любви на тетрадных листках, то теперь, после школьной рутины и жестокой обиды на телефонного знакомого, мне хотелось увлечений, приключений, и я уже начала сочинять мысленно сюжет авантюрного спектакля, где мечтала сыграть главную роль.

Настроение вдруг сделалось лихим, приподнятым, когда я подошла к распахнутой двери в столовую стационара. На диване сидели трое ребят и с любопытством разглядывали меня. Чувствовала, что щеки горят от смущения, и пыталась скрыть смятение улыбкой. Парни как-то разом, дружно среагировали на мое появление, завязался шуточный пустяковый разговор, и стало ясно, чуть не с первой минуты, выбор за мной.

Веселье в душе нарастало, на некоторое время укрылась от настойчивого внимания в женской палате, но к вечеру они опять ходили за мной гурьбой, девчонки из нашей палаты сердито поглядывали на происходящее и перешёптывались. В жизни не испытывала такого драйва!

Один из юношей, Володя из Чимкента, показался очень симпатичным: пышная шевелюра волнистых пшеничных волос, богатые, как у девушки, длинные светлые ресницы, крупные зеленые глаза. В борьбе за моё внимание он активничал больше других, так что первый же вечер мы провели вдвоем, сидя на широком подоконнике, и, конечно, после пустых и праздных разговоров я читала новому знакомому любимые стихи, не заботясь о том, насколько ему это интересно. В знак внимания он время от времени кивал головой и подсаживался все ближе. На другой день, соорудив причёску и подкрасив ресницы, носилась по стационару, сверкая жаркими угольками глаз и смущая покой парней блаженной улыбкой. Девушки и старушки упрекали меня в несдержанности.

– Нельзя так откровенно показывать, что влюбилась, от тебя прямо искры летят.

Ни в кого я не влюбилась, просто мне нравилось привлекать внимание юношей. Возможность нежных прикосновений, свиданий наедине кружила мне голову. Я чувствовала себя героиней какого-то водевильного спектакля. Иногда даже среди бела дня мы уходили с Володей на черную лестницу целоваться, и он начинал расписывать, как мы поженимся, и посадит он меня, по южному обычаю, дома, за высоким забором. Страстные поцелуи не давали сразу сообразить, какая «чудная» жизнь меня ожидает.

Новый год мне почему-то захотелось встретить у дяди, который жил тогда в 9-м микрорайоне, и, кажется, по этой причине мы поссорились с воздыхателем: я не хотела оставаться в стационаре, а он отказывался ехать со мной. Когда после праздника вернулась, Володя волочил за новенькой девушкой лет семнадцати, женщины из нашей палаты пытались нас помирить, но в результате вышло хуже, в пылу выяснения отношений я залепила Володе пощечину, так что его щека была долго красной как помидор, а вслед мне неслись нелепые в этой ситуации слова:

– Я тоже так могу!

У этого импровизированного спектакля были зрители, и один из них наблюдал с особым интересом, некий Володя из Джамбула, с которым мы частенько играли в шахматы. На него я попросту не смотрела и о пристрастном интересе долго не подозревала. Так или иначе, но первый вдохновенный этюд на тему мимолетных увлечений завершился, едва начавшись.

Совру, если скажу, что меня волновал только острый сюжет встреч-расставаний, Володя из Чимкента мне нравился, но его южный темперамент и мой свободолюбивый, независимый нрав рядом не могли ужиться. Когда он уезжал домой, я даже не повернула в его сторону голову, а еще раньше на его глазах охмурила красивого молодого человека, который по всем внешним статьям превосходил Володю. Сердце в этот раз у меня не очень-то ёкало, мне просто хотелось уязвить своего бывшего поклонника. Правда, я заранее представляла, как приятно будет с высоким, симпатичным парнем ходить в кино, в кафе, и вдохновенно, сияя глазами и улыбкой, гадала ему по руке, а знаменитый тактильный контакт и мой лихой настрой делали свое дело.

Не подозревала в себе таких талантов, но страсть любого толка: творческая, душевная, сердечная и т. д. преображала меня неузнаваемо моментально – и мужчины попадали под некую стремительную жаркую волну эмоций. Красавчика звали неоригинально, тоже Володя. Ему бы увлечься 16-летней Светкой,

хорошенькой и свеженькой, как весенний цветок, но с той самой ворожбы он потянулся ко мне, пригласил на свидание, мы стали по вечерам встречаться. Но то, что интересно было ему, у меня вызывало скуку, стоило ему позволить некоторую вольность – я удирала со свиданий в темпе вальса.

Тем временем недремлющие наблюдатели следили за моими выкрутасами: один выглядывал из палаты, другой полночи сидел в коридоре с книгой, поджидая, когда я вернусь в свою комнату. Почему-то и он не заинтересовался моей юной соседкой по палате. Вместе с Володей мы ходили несколько раз в кино, взяв его под руку, с удовольствием шагала по тротуару в сторону кинотеатра «Целинный», адреналин зашкаливал, между тем неясное предчувствие подсказывало: всё ненадолго. Иногда мы отправлялись погулять вчетвером, прихватив с собой Свету и Володю из Джамбула, который щедро поил всю компанию шампанским, угощал шоколадными конфетами.

Случайно я узнала, что Володя, к которому я бегала на свидания, поспорил, что сделает меня своей женщиной. Нечто подобное предполагала, но долго не верила. Истина не потрясла, просто захотелось наказать молодого человека за самонадеянность, и я решила напоследок поиграть с ним как кошка с мышкой. С первого вечера он твердил о своей любви, но я даже в самом начале не обольщалась, а теперь предложила ему проверить чувства: на свидания ходить не буду, но в течение трех дней Володя должен показать, как он хорошо ко мне относится.

Напилась снотворного, девчонкам велела сказать Володе, что заболела, и утром проспала завтрак. Когда пришла в себя, на тумбочке стояли тарелки с едой, это был первый знак внимания. К вечеру, устав валяться, я пошла в столовую. Не успела приземлиться за столик, Володя на виду у всех засуетился, побежал за чайником, сел рядом и... размешал сахар в моем стакане. Я только диву давалась, на что он способен ради своего спора.

Соседки по палате следили за этим спектаклем, разинув рты. В последний вечер перед концом испытаний красавчик настолько вошел в роль, что подхватил меня на руки, а пушинкой я и тогда не была, и, поднявшись на второй этаж, пронес меня до конца длинного коридора, и только тут, у двери в мою палату, опустил на пол с вопросом:

– Ты придешь на свидание?

– Нет. Всё кончено! – весело, с некоторым вызовом, ответила я.

Красавчик сначала впал в ступор от неожиданного ответа, потом резко сорвался с места, побежал и со всей дури хлопнул дверь в холл.

Мне было больно, но я смеялась. На другой день Володя скоропалительно уехал, не завершив своих дел.

Недремлющие наблюдатели пытались привлечь к себе мой интерес, но спектакль был окончен, а любопытные зрители не годились даже для разговоров о театральной премьере. Володя из Джамбула, неглупый, начитанный, знающий наизусть прекрасные стихи Сельвинского, на самом деле спровоцировал Володю-красавчика на тот пошлый спор. Может быть, спектакль, который я придумала и разыграла, ранил неплохого человека, но что-то подсказывает мне, что всё случилось поделом. Закончились южные гастроли, пора было возвращаться домой, в реальность, к любимым друзьям и книгам, к дорогим моим маме и Толику.

## РЯДОМ С ТОЛИКОМ

Толик рано научился лазить по деревьям, даже на фотографиях часто выглядывает из кроны – и смотрит большими, удивленно распахнутыми, печальными глазами. Мама уводила его в садик чистенького, наглаженного, а возвращался он весь испачканный землей, красками или еще чем-то непонятным, частенько с оторванным рукавом, а рукавички, шапочки, шарфики терялись без конца. Вскоре научился драться, сам не нападал, но стоило обидеть его или девочку. Тому, которая тянулась за ним в садике как хвостик, он злился не на шутку и бил обидчиков, пока не заорут. Рос он при живых родителях сиротой: Борис мотался по Союзу, Зина жила сама по себе вольно, разгульно, никогда к ребенку не приходила, словно совсем забыла, что у неё есть сынок.

Мама больше всех заботилась о Толике, а я всегда на подхвате, всегда рядом. Читала ему сказки, разучивала с ним стихи, а иногда мы ходили на детские фильмы или на мультики в кинотеатр «Орленок», очень любили после сеанса заглянуть в детское кафе «Лакомка». Когда он пошел в школу, занималась с ним, помогала учить уроки. Осталась фотография, на которой серьезная, как учительница, что-то ему диктует из книги, а он усердно пишет в тетрадь. Правда, в реальной жизни Толик никак не мог привыкнуть к усидчивости, к порядку в дневнике и в тетрадях. Как мы ни старались с мамой, но учился Толик с большой ленцой, ему бы во дворе по лужам побегать, мяч попинать, а мы с двух сторон гудели об учебе, да всё без толку. Из меня воспитатель был еще никакой, поэтому я легко велась на мальчишеские хитрости: приступали к переводам по английскому, задавала ему вопросы, а он делал вид, что ничегошеньки не понимает, я подсказывала, сначала понемногу, дальше больше – и в итоге получалось, что текст уже переведен... мной. Толик смеялся, ну и я не могла удержаться от улыбки.

Однажды Толик пришел домой весь взъерошенный, сердито сверкая глазами, дрогнувшим голосом выпалил:

– Я сейчас Зинку пьяную видел, которая мать моя была...

Мама насторожилась:

– Сынок, ты что-то плохое сделал?

– Я в неё несколько кусков льда запустил, пусть знает! – почти прокричал он.

– Не надо так, она же больная...

– Ага, оба они с отцом на голову больные. Можно я лучше тебя, баба, мамой буду звать? Ты у меня вместо всех!

Мама не согласилась: жалела Зинаиду, надеялась, что та когда-нибудь одумается и заберет Толика.

Мама любила Толика крепко и старалась всячески скрасить его сиротство. После смерти старшего сына только дача, работа на земле да еще маленький Толик по-настоящему удерживали её от безумия, от отчаянных поступков. На фотографиях он постоянно рядом с мамой на даче и с самых малых лет то с граблями, то с тяжелой лейкой, то со шлангом. Он с удовольствием шел на дачу, помогал маме, полыл, копал землю, собирал урожай, а благодаря маминым умелым рукам всё росло как на дрожжах. Когда он немного повзрослел, часто просил маму рассказать про Малнарымку, в которой прошло ее детство, и мечтал:

– Вот вырасту и стану трактористом. И поедем мы с тобой в Малнарымку жить...

Лет с двенадцати Толик стал нервным, упрямым, научился курить. Мы подолгу размышляли с мамой, как не упустить его в таком трудном возрасте. В школе с учебой у него не очень-то ладилось, да и о своих непутевых родителях он задумывался чаще. Борис со своей мутной жизнью ничему доброму научить не мог, пару раз за всю жизнь сходил с сыном на рыбалку да однажды привез из командировки коробку конфет, вот и всё внимание.

Мама, когда видела, что Толик приуныл, ехала с ним на Аблакетские горы, прихватив с собой бутерброды и арбуз. Оттуда, с высоты, весь город – как на ладони. Там они могли переговорить обо всем на свете: мама всегда умела выслушать и дать совет в трудных ситуациях. Конечно, ему бы с отцом или, на худой случай, с дедом о своем мужском потолковать, но у тех пьянка, гулянка заслоняли весь белый свет.

В то время я работала в библиотеке профкома, расположенной через дорогу от того квартала, где мы жили, и темными зимними вечерами не они, взрослые дяди, а Толик – двенадцатилетний пацан – встречал меня с работы, помогал перебраться через снежные надолбы и перейти скользкий перекресток, причем его и заставлять не надо было, он сам без напоминаний спешил в глухой и страшноватый угол по Бажова, 44. Мы шли домой, рассказывали смешные истории, по семейной привычке, подшучивали друг над другом.

Толик никогда не стеснялся моей хромоты, никогда не говорил мне гадостей, даже если я за что-то сердилась на него и ворчала. Однажды, как это ни смешно, он пошел вместе со мной на свидание, которое мне почему-то казалось сомнительным, хотя парень, пригласивший меня, на первый взгляд заинтересовал. В кино мы не попали, билеты кончились, Толик предложил поехать в «Лакомку», где кавалер проявил чудеса щедрости, и мой племянник от души наелся мороженого и творожных палочек. Шепотом, когда парень отошел расплатиться, он сообщил свое мнение: «Главное, не жадный...» Хорошо, что Толик был со мной: при ближайшем рассмотрении новый знакомый оказался под градусом и, когда мы с Толиком это разглядели, покинуть горе-кавалера вдвоем оказалось легче. Мы ехали на автобусе домой и от души смеялись над нелепым randevu, а Толик твердил: «Подумаешь, вином пахнет, зато не жадный, все деньги домой приносить будет». А я шутливо отмахивалась: «Не мели, Емеля, не твоя неделя!» Пока еще моё сердце билось спокойно и свободно, нравилось оказаться в центре внимания, весело начинались и ускользали мимолетные увлечения, и я недолго грустила о случайных встречах-расставаниях.

## ЛЕТНЕЕ ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ

Спустя пару лет гипноз влюбленности всё-таки настиг меня. Случилось это, по всем законам жанра, в Алма-Ате, волшебной, разнеженной под жарким июльским солнцем, когда деревья, дома, тротуары дышат ожиданием страсти. Только глянули на меня зеленые глаза в оранжевую крапинку – и я в течение нескольких часов не могла никуда ускользнуть от стройного смуглого молодого человека лет двадцати семи. Мы сидели на веранде, не обращая внимания на присутствующих, Александр держал меня за руку, и мы не отрывали друг от друга взгляда, почему-то кружилась голова, всё вокруг плавало в зыбком тумане. Постепенно товарищи Саши куда-то исчезли, а я говорила новому знакомому о самых тревожных и

странных моментах моей судьбы и чувствовала, что с каждым моим откровением мы становимся ближе: огненные искорки в его глазах разгорались, я чувствовала, что ноги не держат меня, сердце колотилось где-то у горла.

Едва преодолев мощное гипнотическое облако, я поспешила на автобусную остановку, Александр пошел меня провожать до самого дома подруги. С этого вечера мы проводили вместе все дни и вечера.

Обычно, расставшись на пару часов с интересным мне юношей, успевала разобраться в своих чувствах, придумать сюжет увлекательного спектакля для двоих и подготовить для него боевую раскраску и подходящий наряд. В этот раз жар, охвативший мое сознание, мое тело, не отступал ни на минуту, воля и рас-судок не пытались включаться.

С утра быстренько наводила красоту и, в ожидании поклонника, до умопомра-чения слушала (в очень хорошей записи) оперу Дж. Верди «Травиата». Впервые порывистая музыка оперы проникала не только в душу, но и в каждую клеточку моего тела, я купалась в трагических волнах последней части оперы, словно в бушующем море, и подспудно знала: счастливой развязки моего скоропалитель-ного романа не будет.

Потом появлялся Саша, и стоило ему взглянуть на меня – предчувствия от-ступали: я кормила его жареной картошкой, и мы отправлялись гулять по городу. Однажды мы сидели возле кафе «Акку», в сквере, под деревом непонятной по-роды с обрезанными ветвями, и обнимались. Я смеялась над тем, как мы хорошо спрятались, и вдруг за спиной Саши возник вихрь из черных песчинок (откуда он взялся в обычно безветренной Алма-Ате, ума не приложу), я теснее прижалась к его плечу (тревога охватила меня с головы до пят), но ничего не сказала Саше, и, когда он спустя минуту оглянулся, моментальная ветряная воронка уже исчезла. Потом это мгновение откликнется в стихотворении:

Нелепый ветер в сквере,  
поднявший пыль в июле,  
подкинул сердце выше  
возможной высоты...  
Случайный спутник лета  
губами тронул веки  
и, как пристало ветру,  
поймал листок-ладонь.

Спутник оказался действительно случайным, хотя весь месяц мы летали вместе с ним как на крыльях по городу. Он познакомился с моими родными. Тете Люде мой молодой человек почему-то понравился, хотя общались они с ним недолго, а с подругой Леной мы втроем ходили в кафе, и она твердила, что Саша смотрел на меня весь вечер влюбленными глазами, когда я танцевала с каким-то парнем, когда дурачилась за столом, желая растормошить вечно заторможенную подругу. Помню только, как весело мы шутили под конец вечера, как, когда мы прощались у Ленкиного дома, подруга оставила нас на минуточку наедине, он приподнял меня и прижал к себе так крепко, словно хотел удержать в своих объятьях навсегда.

Язык интимных встреч мне был еще не очень внятен, и чаще всего романтиче-ские блуждания по городу, по ВДНХ, по парку Горького меня радовали больше,

нежели поцелуи на лавочках, среди густых буйных деревьев, поэтому я ускользала из рук поклонника раньше, чем ему хотелось меня отпустить.

Странно, но за месяц нашего общения почти ничего не узнала о его судьбе, о привычках, о друзьях и близких, он умело обходил эти темы, а мне казалось, что впереди еще вся жизнь, чтобы узнать подробности. Стоило ему посмотреть мне в глаза – и я улетала из реального мира, мысли мои, как кролики под взглядом удава, двигались только навстречу гипнотизеру. Так смотрят разведчики или великие мошенники. Проку от меня не могло быть ни для той, ни для другой категории мужчин. Теряюсь в догадках, кем был Александр.

В конце августа я уехала в Усть-Каменогорск, провожать Саша не пришел, хотя я до самого отлета искала его в толпе провожающих. В голове мелькнуло: больше ничего не будет. Как в воду глядела: письма не дождалась, на мою открытку он не ответил. Спустя пару месяцев написала страдательное стихотворение, на которое теперь смотрю с улыбкой и легкой иронией, а тогда страсти терзали меня еженощно.

Схоронила, помянула  
наше дитяtko – любовь.  
Платье алое – со стула:  
глуше боль,  
не прекословь!  
Отворила, распахнула  
окна в детскую любви,  
чтобы все углы продуло,  
чтобы лед звенел в крови.

Перестала встречаться с друзьями, летнее увлечение обернулось драмой. Хотя страшного ничего не произошло: были яркие взаимные чувства, в его и в моих глазах пылал огонь юной страсти, весь месяц мы жили словно в ином измерении, где правят любовь, нежность, праздничные отношения без взаимных обязательств и упреков. Возможно, поведай он мне сходу о подробностях своей реальной (возможно, семейной) жизни, я ускользнула бы от него с прежней легкостью.

Теперь, спустя жизнь, я благодарна судьбе и Александру за тот головокружительный месяц вдвоем, за особый магнетизм его глаз, за нежность. Так никогда и не узнала, что с ним случилось дальше. Первые земные и, главное, взаимные чувства, не придуманные, а реальные, пробудил именно он, высокий статный мужчина с огненными искрами в глазах. В любом случае, дай ему Бог, коли он на земле еще, доброй и долгой жизни.

## ВСТРЕЧИ У ПРЕКРАСНОЙ ТАМАРЫ

Целый год я жила затворницей, приходила с работы, включала пластинку «Падает снег» Сальваторе Адамо и плакала все вечера напролет, закрывшись в своей комнате. Стихи писала, но росла глухая обида на Александра, причины расставания мне были не известны, и поэтому, обвинив его во всех возможных и придуманных грехах, разочарованно смотрела на мир вокруг и собиралась бросить писать, поскольку не видела заметных успехов ни в поэзии, ни в прозе.

о чем случайно поведала Свете Шуваловой, и она потащила меня в гости к одной удивительной женщине (ей в ту пору исполнилось сорок), которая привечала в своем доме всех литераторов города, и юные дарования в том числе.

Дверь открыла высокая синеглазая женщина, то были даже не глаза, а ласковые, большие как озера, очи. Пышные высветленные волосы она всегда укладывала в женственную высокую прическу. Улыбка, немного кокетливая, почти не сходила с ее уст. Всё в ней, несмотря на удлиненные, слегка угловатые пропорции, исходило флер непобедимой игриво-мягкой женственности.

Принесла я с собой тетрадь со стихами, Тамара, так она предложила сразу себя называть, усадила нас пить чай, а сама тем временем ознакомилась с моими «перлами» и живо отозвалась на мои порой неумелые попытки выплеснуть сжигающие меня чувства

– Чудесно, у тебя своеобразный талант, особенный голос, только много печали. Люди любят солнышко! Согрей их! – говорила она восторженно – и грела моё бедное сердце при этом сиянием прекрасных глаз и ласковой улыбкой.

Обида на Александра еще фонтанировала во мне и просилась наружу, и я прочитала Тамаре недавнее стихотворение про «дитяtko-любовь» и добавила, что разочарована в людях, в любви и в своей поэзии. Шекспир отдыхает, трагедия, прямо-таки мировая...

На это мудрая старшая подруга, которой она стала с первой встречи, заметила: – Не вздумай бросать поэзию, ни один мужчина, ни одно разочарование не стоит таких глупых поступков, наоборот, пиши, пиши больше, выплескивай свои чувства, иначе они тебя задушат, утри нос своему Саше, докажи своей судьбой, самим творчеством, что ты не скисла, не сломалась, пусть знает наших.

Шла я от неё, улыбаясь встречным прохожим, словно у меня именины сегодня, вдохновение вернулось ко мне. Через неделю во дворе дома, где жила Тамара, поджидая, когда она вернется с работы, в синих весенних сумерках я сочиняла мысленно стихотворение, вернее, оно почти готовое выплывало из неведомых небесных глубин, оставалось только запомнить и потом записать.

Блуждает ветер в спутанных ветвях,  
как в волосах любимой женщины  
блуждает нежная рука,  
стремясь продлить мгновенье поцелуя.

Блуждает ветер, весел до тоски,  
срывает снег.  
И запахом весенним  
повеяло неожиданно от ветвей...

И дрогнули, забредившие маем,  
деревья-малолетки во дворе,  
внутри зеленым светом озаряясь,  
покуда тайно-трепетным огнем.

Тамара искренне обрадовалась новорожденному стихотворению. В форточку влетал теплый ласковый ветерок, мы сидели на кухне, и, впервые за много меся-



цев, мне хотелось петь и дурачиться, мы говорили о казусах любви, и почему-то мне пришло в голову, что до любви мне еще семь верст киселя хлебать, и всё лесом. В стихотворении лишь мелькнула нежная чувственная тень прежних волнений, воздух весны и надежды увлек за собой и щедро одарил теплом. Мы пили чай – и обычный хлеб казался божественно вкусным, мы шутили и читали друг другу стихи.

С этого момента я повадилась в гости к Тамаре, и не только ради разговоров о новорожденных стихах. Часто после очередного литературного объединения мы гурьбой, сложившись по рублю на вино и курочку, шли к Тамаре и там до самой ночи пировали, громогласно читали стихи, пели всей компанией и в полный голос. Соседи стучали в стенку, но мы не унимались, ведь главные, нерегламентированные споры-разговоры приходились именно на посиделки у Тамары. Вольным натурам поэтов хотелось разгуляться в полную силу, – и долго не смолкало фортепьяно, на котором прекрасно играла Света Шувалова и при этом пела чудесные романсы высоким, хорошо поставленным голосом.

Мужчины, бухтящие на диване о чем-то своем, при первых аккордах утихали и, романтично развалившись, внимали пению. Даже шумный и любивший доводить споры до скандала и драки Саша Романов в картинной позе замирал, облокотившись о рояль. На глазах сентиментального Михаила Ивановича закипали слезы, потом мы дружно хором пели «Горную Ульбинку» на стихи Тамары Головановой, а за инструмент садилась Элла Огородникова – местный композитор и автор музыки этой песни.

Юра Плеслов брал из-за дивана гитару и пел «Над обрывом, по-над пропастью», пел по-своему, но с хрипотцой, присущей Высоцкому. Разгулявшись, и я могла спеть без сопровождения романс «Улица, улица, ты, брат, пьяна». Главным, конечно, было чтение стихов. Впервые на одном из вечеров прозвучала «Мягкотиха» Виктора Веригина. В одном из лучших его стихотворений о сгоревшем лесе по-настоящему высветился по-народному корневой сильный талант Виктора, и я уже (и мысленно, и в разговорах о его стихах) с почтением относилась к его ясно обозначенному дарованию, прежний иронично-насмешливый взгляд сменился вполне справедливым уважением.

Романов в ту пору бродил по горам, по долам в поисках счастья и себя самого. Неровные и какие-то нервные стихи о любви и о надоевших всей стране журавликах были в прошлом, и однажды он прочитал «Затворника», который немного перекликался с бунинским «Одиночеством», но не был повторением или реминисценцией. Этим стихотворением Саша заявил о себе как о крепком, интересном поэте, и все остро почувствовали это, когда он читал стихи из «Таежной тетради».

Светлана писала о любви-разлуке и гордилась тем, что пишет мало, но оттачивает каждую строчку до совершенства, и действительно, стихи ее были гармонично и грамотно сложены, но полны непроходящей тоски и печали, чему, наверно, способствовала ее природная страстная сосредоточенность на внутреннем мире.

Меня некоторое время в объединении ругали за салонные интонации в лирике. Сопротивлялась яростно, но в чем-то ребята были, как теперь думаю, правы. Холодным осенним вечером, после моей летней поездки в Москву, где я впервые увидела подлинники современных японских гравюр, мы сидели тесным кругом

у Тамары и попивали вино. Я прочитала стихотворение «Плакаты», которое написала под впечатлением от выставки японских гравюр.

Всего лишь плакаты  
 Уэно Макатто...  
 Раскроено небо.  
 Разорваны души!  
 Лишь двое остались  
 живыми.  
 Но лучше...  
 И женщина вдруг  
 закрывает руками  
 лицо, опаленное  
 пламенем «память».  
 Руины и тени,  
 Развалины храма –  
 И уши оглохли  
 От выкрика «Мама!»

Отношение к моим стихам изменилось, живой, порой горький, неустроенный мир смело врвался в мою душу, даже Саша Романов, любивший разнести стихи товарищей в пух и прах, признавал мои способности и, когда на одном из лито разбирали мой рассказ, честно заявил:

– Зря ты берешься за прозу, тебе не хватает жесткости взгляда, житейской мудрости, наконец, пиши стихи, они у тебя получаются отлично, и не надо им изменять с прозой, ну разве что на склоне лет.

Стихи нашего мэтра Михаила Ивановича я не слишком ценила, но запомнились сами собой отдельные строки, от которых до сих пор тепло на душе:

«Ты прическу сделала под мальчика,  
 убрала по-праздничному комнаты.  
 Я в ладонях грею твои пальчики  
 и смотрю в глаза твои огромные...»

Стихи посвящены супруге Чистякова Софии Ивановне, женщине удивительно мудрой, энциклопедически образованной, которая всю жизнь посвятила М. И., всегда оставаясь в его тени. Ее красота смуглой яркоглазой гречанки сравнима только с ее блестящим умом. Может быть, поэтому эти строки запечатлелись навсегда. Еще осталось в копилке жизненных наблюдений мгновение, когда седой, но еще очень бодрый Чистяков, на одной из наших импровизированных встреч у Тамары поднимается из-за стола и, в величавой позе, глядя сквозь очки близорукими глазами куда-то в пространство, читает знакомые всем «костровцам» строки:

«У поэтов маршруты:  
 то обрывы, то скалы.  
 Поднимаются круто –  
 и с утесов – в провалы.»

Их сечет встречный ветер,  
мучит тяжесть бессонниц.  
Нелегко им планету  
поворачивать к солнцу».

Опускаю первую строфу сознательно, поскольку в ней задиристый перехлест, не слишком уместная в этом случае гиперболы. Не кровью мы пишем, не линчуем сердца, действие поэзии далеко от казней египетских и прочего изуверства. Но в традиции советской поэтической школы, расцветавшей в годы кровавой гражданской войны, прочно укоренилось стремление поэтов не проникнуть в душу читателя, а стукнуть его так словами, чтобы он если и не рухнул от шока, то долго помнил словесную взбучку.

Мы могли относиться к мэтру, по разным причинам, как угодно, но даже те, кто его стихи считал придворными одами областному руководству, а его традиционные ямбы и хорей квадратно-гнездовыми посадками, рано или поздно почему-то шли похвастаться своими успехами к Михаилу Ивановичу и огорчались, если он их не хвалил.

Впрочем, меня, поперечную, чаша сия миновала: не хаяла и на поклон не ходила, но всегда помнила с благодарностью, как много я и мои товарищи по литературному клубу «Костер» узнали, полюбили в мире античной и современной литературы благодаря знаниям М. И. и стремлению разбудить в нас творческое начало.

Литературное объединение области, которое десятки лет возглавлял М. И. Чистяков, претендовало на роль вершителя творческих судеб. До Союза писателей проторить дорогу удавалось немногим, часто вне зависимости от уровня таланта. Областные литературные тусовки и объединения, студии и даже клубы по интересам пышно произрастали по всему советскому пространству, и атмосфера официальных и домашних встреч провинциальных объединений, не слишком, как оказалось, отличалась от столичной (московской, алма-атинской). Хотя уровень апломба и самомнения в областных творческих союзах, думаю, зашкаливал реже, чем в местах, приближенных к изданию книг.

Возможно, наше объединение не может гордиться созданием новых литературных школ и направлений, но несколько творческих лидеров собирали вокруг себя почитателей и приверженцев. Чистяковцы, шустеровцы и курдаковцы в 70–80-х годах прошлого века делали первые шаги в литературе. Влияние лидеров было ясно выражено в творчестве молодых авторов. Неизменное следование классике, поэтике «эстрадников» характерно для чистяковцев: В. Веригина, С. Шуваловой, А. Романова, Н. Матвеевой, Т. Головановой. Ответ Серебряного века, ориентация на философскую, негромкую поэзию О. Чухонцева, Н. Рубцова, А. Кузнецова естественны для шустеровской студии: Т. Кондрашиной, Ю. Плеслова, Л. Медведевой.

Студия «Устье» Е. Курдакова в середине восьмидесятых стала, пожалуй, лучшей школой для молодых талантов. Ю. Савченко, С. Миляев, С. Комов, Б. Аникин, Ф. Черепанов – вот далеко не полный список известных в Казахстане и в России самобытных авторов, бывших студийцев Курдакова, сориентированных не на следование образцам, а на создание собственного, особенного мира.

В разговоре о литературе, о творческих личностях нет и не может быть понятия местечковость и провинциальность. Литературные судьбы, явленные всему

миру, часто корнями уходят в щедрый чернозем малых городов и деревень. Поэтому мне нравится описывать живую, чудаковатую порой, литературную жизнь родного города.

Удивительно, но самые светлые, ясные, весенние стихи о любви писала Тамара: она в сорок лет видела мир восторженно и улыбалась ему открыто и в жизни, и в поэзии. Она была в ту пору такой манкой и прекрасной, что даже наши юные собратья по перу падали перед ней на колени, с которых она их регулярно поднимала и, напомнив о разнице в возрасте, отправляла восвояси.

Помню одного из претендентов на ее руку и сердце, который пришел в гости, когда я в очередной раз принесла Тамаре порцию новых стихов. Имя его потонуло в бездне времени, но это и неважно, интересно, что по его облику я безошибочно узнала синеокого героя лирики Тамары. Наверно, он был по-своему хорош: лукавые ярко-голубые глаза, бесшабашная улыбка, редяющие седины не портили престарелого повесу. Тамара соорудила курочку в духовке, гость достал коньяк, и мы весь вечер веселились. Глаза Тамары сияли, она прекрасно вальсировала, благо, что мебели в комнате почти не было, любо-дорого посмотреть на такую пару, взаимное чувство окутывало их волшебным облаком.

Чье ты, счастье синеглазое,  
чья ты радость и слеза?  
Только бы тебя не сглазили  
злые женские глаза.

...И тебя, по-детски чистого,  
грязь людская б обошла,  
и в глазах твоих лучистых  
радость светлая жила.

Прототип не был, конечно, «по-детски чистым», влюбленные женщины слепы, но ему, несомненно, повезло, что он встретил такую солнечную подругу на своем пути. А ценить драгоценности, в том числе и духовные, современные мужчины не приучены – и где теперь это «счастье синеглазое», одному Богу ведомо, но остались стихи, осталось воспоминание о чудесном вечере, когда моя старшая подруга порхала от радости.

Есть такие женщины, от которых исходят волны любви, нежности, а обаяние сражает наповал всех встречных-поперечных. Тамара Михина-Козлова до самых преклонных лет вальсировала, вокруг неё крутились поклонники, выглядела она всегда потрясающе, особенно в длинном платье с летящей юбкой, а ее ручьиный вибрирующий голос с легкой картавинкой волновал сердца. Богатства не нажила, но всегда одевалась с отменным вкусом, умела шелковую светло-голубую шаль превратить в модную кофточку, а волосы, тщательно и красиво уложенные, казалось, никогда не бывали несвежими и растрепанными. Главным достоянием ее так и осталась необыкновенная, одновременно и лукавая, и солнечная улыбка.

Встретились мы с ней в ту пору, когда мои возможности оболыщения, явно бедноватые и простодушные, ничуть не украшали меня. Присматривалась к своей старшей подруге и многому училась у неё. Спустя какое-то время мое

лицо озаряла таинственная затаенная в уголках губ улыбка, тёмные глаза уже не шурились по-восточному, а по случаю открыто, чуть лукаво постреливали (искусство моментальных взглядов я усвоила и успешно применяла). Гардероб мой преобразился вместе со мной: исчезли вечные немнущиеся брюки, знакомая раскроила мне несколько длинных платьев, которые я придумала, учитывая особенности своей фигуры. За неделю сшила наряды – и была в полной готовности к новому повороту судьбы.

## ПЕТРОВСКАЯ ЭПОХА

Лето в тот год было томительным и жарким, только в августе смогла вырваться на протезирование в Семипалатинск. Вечером, в день приезда, вместе с Галкой Мезенцевой, моей землячкой и давней знакомой, сидела на диване в большом зале стационара и вместе с другими ребятами смотрела телевизор. Фильм оказался скучным, да и весь вечер обещал только праздные разговоры да игру в карты. Главное, вокруг ни одного интересного лица, редко, но такое случается. Когда я совсем приуныла, к нам подошел мужчина лет тридцати пяти на двух протезах. Меня поразило, как он прямо держит спину, как уверенно идет, опираясь на трость, и небесно-голубые глаза его излучают уверенность, силу и затаенную боль, а улыбка мощностью в сто ватт слепит и тревожит одновременно.

Он присел рядом с Галкой, и она тотчас познакомила нас. Петр, так звали мужчину, с интересом посмотрел на меня. Мужество и достоинство всегда мне импонировали, а когда обнаружился незаурядный ум и начитанность, одарила его одной из потаенных улыбок и парой быстрых взглядов, совершенно спонтанно. Поскольку он был давним приятелем Галки, завязался общий разговор, вдобавок ко всему он пересыпал обычные фразы шутками и поговорками так ловко, как умела это только моя мама, обладательница неунывающего казачьего характера. Выяснилось, что новый знакомый из казачьего сословья. Вот тут мне стало по-настоящему хорошо и весело, словно наконец-то встретилась с родным человеком.

На другой день нас то и дело притягивало друг к другу: мы встречались то в столовой, оказываясь за одним столом, то в коридоре на пути из ванной, то во дворе стационара. Вечером, не сговариваясь, подошли одновременно к процедурному кабинету. У Петра под мышкой торчала книга, мы уселись на диван – и он принялся вслух читать «Поднятую целину». Когда повествование в романе дошло до проделок деда Щукаря, мы дружно расхохотались, и, в порыве внезапного веселья, я коснулась слегка плеча Петра – и он тотчас, как само собой разумеющееся, обнял меня. Самое любопытное, что этот уверенный жест мне не был неприятен, скорее, напротив. На другой и на третий день мы читали поочередно знакомый с юности роман и смеялись до упада.

Однажды Петр, широко улыбнувшись, сказал:

– Из нас получилась бы отличная пара ...

Его слова отозвались во мне непреходящей радостью, и с этого момента на много лет он стал центром моего мироздания: мысли, надежды, мечты, как планеты вокруг солнца, вращались вокруг имени Петр.

Как-то утром я вошла в комнату после умывания – на моей тумбочке в бутылке из-под молока красовались астры.

Когда я вышла из палаты, Петр с шутливым возмущением спросил:

– Кто это тебе цветочки принес, наверно, кавалер завелся. Ты у меня смотри, соперников не выношу.

Всем вокруг, да и мне было отлично понятно, что цветы принес он, оголив клумбу во дворе стационара.

Иногда он исчезал на пару дней, к своим якобы друзьям, тем временем меня терзали сомнения, а он возвращался поникший, помятый, от него пахло дешевыми духами. Свой бурный характер, как ни странно, я не показывала. Когда мы оставались вдвоем, едва он невесомо прикоснулся ко мне, я заливалась тихим смехом. Пётр обнимал меня и мечтал, как было бы прекрасно оказаться наедине, не в стационаре, а дома при свете торшера, потом грустно добавлял:

– Боюсь сломать твою судьбу.

Мне было всё равно, что он оказался женат. Что случится потом, меня не волновало ничуть. Смешно сознаться, но моей разбойной удали хватало даже на прямые провокации: однажды, прогуливаясь во дворе, увидела Петра – и ноги сами скоренько поднесли меня к нему. Не успел он опомниться, я запечатлела на его губах поцелуй, который, по его словам, он запомнил на всю жизнь, но поспешил укрыться в стационаре. О нем одно из лучших моих лирических стихотворений.

### Лиловые астры

О сильном мужчине мне нравилось грезить  
весь горем пронизанный год.  
Он медленно шел на скрипучих протезах,  
светло улыбаясь, вперед.

Угнаться за ним по осенней аллее  
напрасно пыталась листва.  
Судьба синеглазых ничуть не жалеет:  
облаяла радость молва.

Как долго грустили лиловые астры  
в бутылке из-под молока...  
Пригрезилась нежность.  
Жестокое завтра  
прохладою веет слегка.

Прощальный подарок брошенной клумбы –  
три светло-лиловых звезды  
сияют над жизнью мучительно-грубой,  
спасают меня от беды.

Колени в ушибах, ладони в порезах.  
но в радостно-ласковом сне  
он снова идет на скрипучих протезах,  
светло улыбается мне.

## ГОРЕМ ПРОНИЗАННЫЙ ГОД

Осенью я возвращалась на самолете из Алма-Аты, меня, как обычно, встречали только двое: мама и Толик. Его я увидела сразу, он выглядывал между металлическими прутьями ограды, махал мне рукой и, улыбаясь, что-то кричал. Непонятно почему ёкнуло сердце.

Дома я узнала, что Толику во время драки выбили зуб, образовалась опухоль и теперь предстоит операция. Сразу не могла осознать серьезность всего произошедшего, мама встревожилась, но успокаивала меня, да и себя заодно, что всё обойдется, а через несколько дней выяснилось: не обойдется, отправили анализ на биопсию, снова прооперировали в челюстно-лицевой хирургии, почему-то вырезав кроме опухоли часть щеки.

Толик благодаря тупым санитаркам-сплетницам узнал о своем страшном диагнозе раньше мамы. Когда она стала что-то говорить о том, что он скоро выздоровеет, Толик с усмешкой сказал:

– Не обманывай, у меня рак!

И на все попытки разуверить только мотал головой.

Я прошла через онкологию в детстве и осталась живой, поэтому мы с мамой вновь и вновь принимались уговаривать, объяснять, что диагноз еще не приговор. Но что-то пошло сразу не так: если мне встретились замечательные врачи, то Толик попал в круг равнодушных, порой безграмотных и жестоких медиков.

Спустя жизнь, пройдя вместе со многими друзьями и близкими эти пыточные круги, понимаю, что большая часть успеха от лечения зависит от настроения больного и его родных. В нашем городе, загазованном, беспредельно напичканном вреднейшими производствами, онкология, к сожалению, явление распространенное, почти будничное. Методы лечения совершенствуются, но медленно: выживают и живут потом еще десятилетия, часто вне зависимости от стадии онкологии, те, кто стремится выздороветь всеми силами, вера в этом случае не только облегчает страдания, но и реально спасает.

Взрослому знание диагноза, при нормальной психике, не повредит, а поможет вовремя собраться и настроиться на лечение, ребенку лучше не знать, а если точнее: для него это знание губительно. Так случилось с Толиком.

Вскоре ему дали направление в Онкологический центр в Алма-Ату. Поехали втроем: мама, Борис и Толик, диагноз подтвердился, сделали операцию, но по какой-то причине лишь частично усекли опухоль. В отделении лежало много ребятшек разного возраста, между процедурами дети плели из использованных систем человечков и чертиков, и один из ребят, завершив свою поделку, заявил:

– Я пилота сделал, когда вырасту, летчиком буду!

– Ну да, все мы здесь летчики, только на тот свет, – с горькой иронией добавил Толик.

После операции, в конце декабря, *«из Алма-Аты приехал Туська с успокаивающим диагнозом – фибромиома. Страх немного отступил...»*, написала я в дневнике. Но не могла никак в толк взять, почему опухоль не убрали полностью. Толик нервничал, дерзил, старался не находиться дома, однажды мама застала его за курением, он, закрыв дыру в щеке рукой, дымил с мальчишками на лестнице, на Новый год он еще дурачился, хохотал вместе с Алешей, но ему становилось всё хуже, опухоль стала вновь расти.

*«Были только часы, иногда минуты, когда мы с Толькой болтали обо всем или играли, это были самые лучшие часы этого года. Я видела его открытую рану, опухоль совсем близко...»* (23.01.1980. Дневник)

Всю жесткую удручающую правду рассказывать не стоит: лишь теперь, спустя 35 лет, я смогла перечитать страницы дневника, написанные (чтобы не сойти с ума) в последние страшные месяцы, когда Толик и мама вернулись из Москвы. Им никто не помог, в онкологическом центре не было уже тех врачей, которые когда-то спасли мою жизнь.

*«Мама, моя мама! Как ее сердце всё вынесет. Дала ей немного отдохнуть и две ночи спала с Толиком. Даже после уколов стонет, бормочет, вздрагивает. Всё похоже на кошмар, мама находит силы еще пошутить, чтобы ребенок не чувствовал так остро свою обреченность, что странно, и я, оказывается, могу делать что-то подобное».* (27.01.1980. Дневник)

Долго сомневалась, стоит ли поднимать боль давнишнюю, но, во-первых, она и без того со мной, только тронь, во-вторых, кому-нибудь мой рассказ, надеюсь, поможет перенести удар судьбы, как некогда стойкость мамы, ее мудрость меняли мой характер, учили выживать и спасать близких.

*«Когда пришла домой после работы, Толик был в унынии, не хотел есть. Посидели втроем: он, мама и я, поговорили. Удивляюсь, как мама умеет вселять надежду там даже, где её нет...»* (28.01.1980. Дневник)

*«Рассудок в черном тумане, но... нельзя в него погружаться: мама и Толик, им я нужна не полоумная, а соображающая здраво, способная для разрядки даже пошутить. Брань грязная, грубая слетает с языка чаще и чаще, понимаю теперь, откуда в человеке матерщина. Но, в крайнем случае, не реву, не бьюсь головой о стенку, это было бы самое недостойное».* (29.01.1980. Дневник)

Надежда на чудо то появлялась, то пропадала, каждый день требовал много сил и упорства, и, наконец, простого здравомыслия, которое сохранять было порой невозможно: обострился некстати хронический лептоменингит, но нужно было справляться с будничными делами и приглядывать за Толиком, отвлекать его хоть на чуть-чуть от болей.

*«Стирала Толику тряпки, гладила бельё, варила бульон и отлеживалась, когда "прижимало". Даже почитала, вернее, пролистала "Графиню Рудольфштадт", пригодилось вечером: рассказывала Толику сюжет этой книги, пошутила, что могу вместо радио работать языком. Опять помогла книга: развлекла и немного отвлекла от боли. Мое сознание настолько в дыму и тумане, что ничегошеньки не могу придумать. Даже соврать. Страдающие глаза и молчание только выводят Туську из себя... У мамы сильные сердечные боли...»*

Ситуацию усугубляло то, что Борис, напившись или наколовшись какой-то дряни, попал в больницу с почками, отец пил, почти не просыхая, все заботы об умирающем ребенке легли на наши с мамой плечи, некоторые родственники боялись проходить дальше входной двери, думая, что онкология заразна, друзья-приятели тоже самоустранились, возможно, по той же причине. Трусливым поясняю еще раз: воздушно-капельным путем рак не передается, а равнодушие к людям, попавшим в беду, заражает нынче целые народы. Никто не застрахован от беды, но если ты безразличен к окружающим и боишься себя потревожить, опечалить, однажды окажешься без помощи людской в безвыходной ситуации. Как мы с мамой выдержали, одному Богу известно.



*«Каждый день бывает “скорая”. Удивляюсь мужеству мамы, без неё я бы свихнулась от всей этой беды».* (11.02.1980)

Не свихнулись, выжили, в начале марта я еще провела вечер для женщин на ТЭЦ, пришла вдохновленная и, не снимая нарядного платья, уселась на кровать рядом с Толиком и принялась рассказывать о героинях вечера, о чудесной теплой атмосфере встречи.

*«Даже Толик слушал мой отчет перед мамой о вечере не без интереса, хоть бы ему стало лучше немного!»* (05.03.1980)

Странно, но недавние анализы оказались неплохими, хотелось верить, что страшный диагноз ошибка, я вышла на работу после праздника, но вечером, незадолго до закрытия библиотеки неожиданно за мной пришла тетя Женя. По её лицу я обо всем догадалась. Когда мы пришли домой, последняя скорая уже уехала.

Толик не дышал, я прикоснулась к его рукам, они были ещё теплые. Не отрывая от него своих ладоней, целый час просидела рядом. Мне казалось, что сердце его не умолкло, и никак не могла понять, почему все, включая маму, что-то делают, суетятся, о чём-то договариваются, а я всё сидела, и мне казалось, он вот-вот вздохнет и поднимется, жестокая правда смерти не доходила до меня все три дня, пока приходили люди прощаться.

Когда пришли дети из класса Толика, запомнила только одного мальчика, с которым дружил Толик, баловник и хулиган, он стоял поодаль от всех и навзрыд плакал. Остальные жались поближе к учительнице. А мне, некстати, подумалось: «Почему так поздно пришли, ребятки, он вас так ждал, каждый день выглядывал в окошко и спрашивал: “Ну что ж они не идут?”». Толик для каждого мальчишки сделал по чертику из больничных систем и хотел, добрая душа, оставить всем хоть маленькую память о себе. Народу на похоронах собралось много, и в толчее прощания я забыла о чемоданчике с чертиками, а одноклассники, никто и никогда, не вошли больше в наш дом, так и затерялся чемодан потом на антресолях.

Рассказала я о горе горьком не для того, чтобы разбередить душу или опечалить читателей. Наконец поняла главное: даже короткая жизнь оставляет отсвет, и до времени скрытое за печалью прощанья, особенное жаркое чувство, возможно, называется счастьем.

Тринадцать лет рядышком жил да был удивительный мальчик, неуступчивый, не обласканный отцом и матерью, но с доброй и нежной, любящей душой, бабушку боготворил бесконечно, и мне довольно тепла перепадало от него и заботы, на то время он был лучшей частью моей жизни: смеющийся парнишка с печальными глазами.

До его гибели я даже не собиралась замуж, думала, что после облучения детей у меня может и не быть, и решила маме помогать растить Толика. Но незадолго до ухода Толика в мир иной со мной случилась истерика, хорошо, что не дома, а по дороге в больницу к Борису. Мы остановились напротив психушки, слезы лились в два ручья, но я не могла остановить дикий смех, мама пыталась успокоить меня, но напрасно. В голове мелькнула странная мысль, что непременно выйду замуж и рожу сына, я словно заклинала судьбу, чтобы она вернула мне мальчика с такой же щедрой душой, как у Толика... Смех угас сам собой, и мы пошли дальше. Маме я ничего не сказала, но знала, всё будет, как подумалось.

Судьба, отнимая дорогих людей, непременно что-то дает потом, но не баш на баш, не взамен, а для того, чтобы хватило сил жить дальше.

«Читала о Блоке – и опять чуточку мужественнее смотрю вперед. Если не рехнусь, буду писать совсем иные стихи, чем прежде», – написала я в те страшные месяцы в дневнике, и Бог услышал меня. Открытием этого года стала для меня поэзия Блока о России, стихи о змеистой женщине и о жеманной певичке почему-то не согревали, не тревожили по-настоящему, лишь горькая любовь к Л. Менделеевой казалась не придуманной, а сокровенной, долгой, на всю жизнь.

Опору смятенной душе я искала в чеканных, порой громовых строках, написанных поэтом не в пору иллюзий символизма, а в роковое время страны. Впервые поняла, точнее, ощутила мощное, трагическое звучание его поэзии, в которой нет-нет, да и мелькнёт тень отца Гамлета, нет-нет, да и послышится отголосок вселенской печали. Поэты, да и люди вообще, неравноценны себе же в различные времена жизни: так песни девушки в церковном хоре несовместимы с вещей птицей Гамаюн, впорхнувшей в поэзию А. А. перед войной 14 года.

Так уж я устроена, что не могу принимать с чужого голоса, особенно навязчивого, поэтические шедевры. Обязательно для моей души потрясение, ослепление на миг, как от молнии, от внезапно открывшейся глубины отдельной строки или даже мира поэта, в котором я вдруг не то что понимаю (загадка пусть остается загадкой), а люблю всё без изытья. Такое проникновение сравнимо только со страстью, но много чище, сильнее, лучше её, так как остается навсегда и не опалает безжалостно душу, а напротив, освежает, как дождь молодые листья.

Толика похоронили в одной могиле с моим старшим братом. Спустя какое-то время возникло горькое и жесткое, наполненное не придуманными страстями и притянутыми за веревочку образами, а словно с хрипом вырванное из горла признание.

За тем мостом не плачут, не поют.  
На звезды ржавые слетаются сороки.  
Живые мертвых помнить устают:  
стирает время роковые сроки.

Холм охраняет буйный зверобой.  
Родным уже не холодно, не больно.  
Никто не стал цветами, лишь собой  
был на земле. И этого довольно.

## ОЖЕСТОЧЕНИЕ

Горе принесло с собой всё-таки, от недостатка мудрости, ожесточение, касалось оно всех мужчин на белом свете. Отец и Борис проявили себя в беде как люди ничтожные. Если я прежде с лёгкой иронией смотрела на бессилие и подлость мужской части страны, то теперь моя ненависть пылала как факел. На физическом уровне что-то со мной произошло: стоило даже собратьям по перу ко мне прикоснуться, они тотчас получали шлепок по рукам совершенно бессознательно. Что при этом было написано на моем лице, можно представить.

Что-то случилось с моей памятью. Некоторых людей, один из них даже родственником приходился и часто бывал у нас дома, я перестала узнавать, могла помнить события, в которых и они участвовали, но самих людей словно кто-то неведомый вычеркнул из моей памяти. Ночами я просыпалась от звонков в дверь, которые мне чудились. Порой, придя на работу, обнаруживала, что юбка на мне вывернута наизнанку. Никакая демонстрация силы и стойкости не заканчивается без последствий.

В марте нас отправили с мамой вдвоем в д.о. «Горняк». К этому моменту «Горняк» преобразился неузнаваемо: построили новый жилой корпус и здание, где размещалась столовая, библиотека, игровая комната и зал для показа фильмов и проведения вечеров. Днем мы много читали, хотя теперь не вспомню ни одного названия прочитанных книг, одна бы я, наверно, и в столовую ходила бы изредка, но мама упорно тащила меня на обеды, на ужины и т. п.

Мы подолгу гуляли, уходя подальше от людей, чтобы можно было поговорить друг с другом и поплакать, никого не смущая, а иногда даже пели, это моя мама в любом жизненном аду делала непременно. И порой к концу прогулки, когда уже замерзали ноги, жесткая боль отступала от сердца, моя дорогая подруга шла рядом со мной, и горечь утишалась, а грудь наполнялась не сдавленным стоном, а чистейшим хвойным веяньем. Главное, мы были на воле, вдали от опостылевших мужчин нашей семьи: ни пьянки, ни ругани, ни дивных ароматов водки и непревзойденной вони из уборной. Сама привычная жизнь, которая осталась в городе, по совести, пахла дурно...

Иногда я отправлялась погулять на речку вместе с соседкой по столу, приятной во всех отношениях молодой женщиной, которая рассказывала мне о своей жизни, но почему-то все ее слова куда-то исчезли, смутно запомнилось лицо и имя – Верочка. Мы ходили по территории «Горняка» и всему давали названия: небольшая наклонная площадка, на которой находились магазинчик, какие-то служебные помещения, почта, парикмахерская, называлась у нас «Косорыловка», – отдыхающие мужчины попивали на лавочках вокруг неё пиво или что-нибудь покрепче. В речку, широкую когда-то, но отчасти обмелевшую, впадала речушка небольшая, но говорливая, и мы окрестили ее Верочкиной речкой, путь туда лежал по дороге, засыпанной гравием и галькой.

Случались всё чаще теплые дни, снег сошел, но камни еще не просохли и поэтому выказывали всю палитру цветов, в которые их окрасила природа: белые, зеленоватые, охристые, нежно-розоватые, голубоватые, сиреневые, лиловые, синие. Я собирала белый кварц, мутно-серые халцедоны, желтоватые полупрозрачные сердолики, попадались и гладко окатанные рекой камушки ситцевой яшмы. Камни оттягивали большие карманы куртки чуть не до земли, и, нагулявшись между редких сосен, мы, довольные, возвращались в «Горняк», слушая весенний гомон беспечных птиц.

Столовая находилась на втором этаже, к ней вела широкая лестница с невысокими ступенями. Однажды, спускаясь по ней после очередной кормежки, увидела внизу мужчину, похожего на Петра Ш., о котором всегда вспоминала с нежностью, и решила немного поозорничать. Когда мы встретились глазами, я улыбнулась так, как прежде, одними уголками губ, отвечая на радостный смех Петра. Сходство было отдаленным, но на секунду у меня ёкнуло сердце, я опустила скромно глаза и прошла мимо.

Странно, но незнакомец часто, словно нарочно, стал попадаться мне на пути и частенько, словно поджидая кого-то, стоял у подножья лестницы, по которой я спускалась. Иногда я смотрела на него, улыбаясь.

Мы чаще всего ходили повсюду вдвоем с мамой. Однажды, пока мама вошла с ключом, открывая дверь в нашу комнату, незнакомец приблизился – и, с места в карьер, не обращая внимания на присутствие мамы и еще каких-то посторонних людей в холле, выпалил непонятную сумбурную речь о том, что он заметил, как я на него посматриваю с особым интересом. Он давно хотел подойти и заговорить, но не решался, если бы оказался холостым, то за милую душу ответил бы на мои взгляды, а дальше уже шла полная околесица про взаимность.

Вот тебе и на! При чем тут жена? Откуда он придумал взаимность? Никак не могла ему втолковать, что он мне напомнил милого далекого друга, не больше. Тут мама наконец справилась с замком, и мой незнакомец ретировался. Потом мы с мамой пили чай с пряниками, купленными на «Косорыловке», и смеялись над несколько неловкой ситуацией.

Почему-то в отчаянные, переломные моменты судьбы ко мне вдруг приходила смелость и даже лихость. Этот смешной эпизод подтолкнул меня к явно авантюрному ходу. Как-то вдруг решила написать письмо Петру, воспоминание о котором всколыхнул посторонний мимолежный человек. Не потому, что мне хотелось потревожить его или его семью, просто захотелось поделиться горем с человеком, который умел думать и, при желании, слушать, сочувствовать людям. Вспомнился его резковатый, но понятный и даже родственный мне казачий характер, захотелось увидеть его и просто поговорить. Вот и всё, не больше.

Пока не грянула беда, мне не приходило в голову написать Петру. Жизнь моя изменилась до неузнаваемости, но кто бы ни забегал случайно и намеренно в пределы моей судьбы, многие годы тайно в ней царил Петр.

## ЗАВЕРШЕНИЕ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Ответное письмо пришло вскоре, в нем было и ласковое обращение, и слова сочувствия, и небольшой экскурс в его жизнь: машина, сыновья, работа, хороший заработок и, где-то на отдалении, жена. Но если всё так уж замечательно, зачем говорить о канувшем, зачем предлагать определенное время и место встречи? В означенный срок, чуть ли не сшибая по речному пути буи, на «Ракете» понеслась в Семипалатинск, в наш протезный стационар.

Пожар, разбуженный в моей голове, испортил все. По прибытии, без малейших заминок, отыскала его в мужской палате и вызвала поговорить. Ну что тут криминального? Женат? И слава Богу! Не посягаю на чистоту женатых мужиков. Вообще ни на что не претендую. Но, видно, на лице моем было столько всего разного и опасного в потенциале для его спокойствия, что он дал резко задний ход и заявил, что поговорить пока не получится, что он наметил встречу с друзьями. (Да хоть с женским полком!) И, непонятно с какого перепугу, добавил жестковатым поучительным тоном дядюшки:

– Ну и вообще, не теряйся, не сучай в одиночестве!

Меня он помнил прежней, всепрощающей, терпеливо ожидающей его возвращения с набегов по местным девицам нетяжелого поведения. Последние

слова жестко резанули по сердцу, – и я лихо, чуть сдвинув широкополую шляпу набок, ответила:

– Светлый путь, легкая дорога! Нынче я другая. Разговор мне твой теперь, как мертвому припарка. Обойдусь!

Говорю, а сама ревизию провожу его потускневшему облику: чуб поредел, глаза поблекли, улыбка напряженная, безрадостная и вялая какая-то, морщины по аршину. Орел, только общипанный и потертый жизнью. И это ради него я неслась сюда на всех парах?!

Только он за порог – я на балкон, а на соседнем балконе бездельем маются молодые парни. Бросаю клич: «Кому не слабо со мной в кино пойти?» (изображаю этакую разбитную бабенку). А душа-то скулит: хотелось понимания, хорошего разговора, а Петр нащелкал по носу, как школьницу.

Между тем «делегат» с соседнего балкона откликается охотно, симпатичный, молодой, веселый (хотя я бы и с Квазимодой пошла с таким же успехом). Сходила с «делегатом» в кино, отвела душеньку, играя в карты с ребятами из соседней палаты, один из которых заливал явно, рассказывая о своей кинематографической судьбе, а когда народ почти рассеялся по палатам, стал закидывать сети, рассказывая о снятом специально для свиданий номере в гостинице. Причем что-то было в его словах пошленькое, мелкое. Язвительные мои шуточки в его адрес не пришлись по вкусу, и он заметно скис и побрел спать-ночевать восвояси.

Я не скучала, «не терялась», вокруг меня постоянно вились какие-то парни. Когда спустя пару дней вернулся Петр, он застал меня в кругу новых приятелей на крыльце стационара, мы развлекались детской игрой в глухой телефон. День стоял пыльный, жаркий.

Петр, отерев вспотевший лоб тыльной стороной ладони, зачем-то спросил:

– Ну что, молодежь, развлекаетесь? – и я, почувствовав на себе его смятенный взгляд, мельком глянула на него, одарив насмешливой улыбкой.

– Дело-то молодое, вестимо! – и лукаво глянула на сидящего рядом парня, немного прыщавого, ну а так ничего себе, вполне юного, свежего и бестолкового.

Петр тяжело поднялся на крыльцо – и скрылся в прохладном коридоре стационара. Мы ездили вместе с кем-нибудь из ребят на Полковничий остров позагорать и отведать ухи, ходили на местный базар за фруктами, даже заглянули как-то в кафе, а потом долго болтались по городскому парку.

Петр как-то потух, скукожился. Однажды вечером, когда мы всей компанией сидели, играли в карты, подначивали друг друга, по залу прошел Петр в пижамных брюках, в майке без рукавов и с полотенцем наперевес через плечо. Он с тусклой полуулыбкой бросил в нашу сторону:

– Молодежь, не пора ли вам спать?

Я весьма едко, смеясь, заметила:

– Мы ещё бодры, а пожилым пора на покой.

В эту минуту я даже хотела, чтобы он поскорее завершил свои дела и наконец уехал в свой далекий Талды-Курган.

На другое утро он заглянул в нашу палату (я упорно делала вид, что сплю), и, обращаясь ко всем и ко мне в том числе, пожелал счастливо оставаться. Я почувствовала на себе его взгляд, но век не разомкнула. На секунду повисла неловкая тишина – и он скрылся за дверью. Что-что, а прощаться навсегда я уже была мастерица.

В конце года случился еще один неожиданный подарок судьбы, в декабре с группой наших молодых литераторов я поехала в город, в котором жил Петр, в Талды-Курган, на региональный семинар. Если бы не пробивная сила Шустера, мы с Танькой Кондрашиной ни за что не попали бы в этот сказочный город. Впервые для меня всё складывалось волшебным, суровая Руфь, вопреки обычаю последних лет, ругала творчество других молодых пиитов, а мои стихи хвалила. Каждый день мы ездили по предприятиям, школам, домам культуры, читали свои стихи – и нас хорошо принимали повсюду, поили коньяком, кормили и угощали крупными яркими яблоками апорта. По вечерам ребята из Алма-Аты и Семипалатинска по моей инициативе собирались в нашей с Танюхой комнате, ненадолго приходила Руфь, но удалялась вскоре, когда коньяк ударял болтливым поэтам в голову.

До отъезда оставалось всё меньше времени, в последний день я решила найти дом, где жил Петр, и направилась вместе с парнем из Семипалатинска по неведомым улицам города. Дом оказался рядом с нашей гостиницей, но, не зная пути, мы долго искали его. Утомившись, уселись на лавочке как раз напротив подъезда, где притаилась квартира Петра. По первоначальному плану я собиралась возложить у подъезда красный крупный цветок с экзотическим названием, который поднесли мне на одной из встреч, но вовремя одумалась, не допустив такой пошлой театральщины. Как-то отстраненно подумала о том, что вот сию минуту могу увидеть если не его самого, то квартиру и домоладцев. Спутник мой вопросительно смотрел на меня, и я в одну секунду поняла, почувствовала, что совсем не хочу стучаться в чужую, непонятную, возможно, счастливую жизнь.

Мы еще немного постояли под пирамидальными тополями, и семипалатинский поэт, как утешительный приз, решил подарить мне строку «Деревья замершие жесты», – тополя стояли, не шелохнувшись, вскинув, как руки, ветви вверх. И этим замершим мгновением завершилась петровская эпоха просвещения: я стала мудрее, и спасибо учителям даже за самые горькие уроки.

Спустя годы до меня долетел привет от Петра: «Я желаю Любаше, как никому другому, большого счастья». У меня всякий раз теплеет на душе, когда я слышу его имя, потом многие годы я действительно была счастливой, наверно, его молитвами, и в ответ посылала тепло и нежность воспоминаний.

Еще до того, как поверить:  
напрасно  
был месяц прекрасный, пречистый  
январь,  
с крещенским морозом, с тревогой  
всечасной.  
Взирая на уличный старый фонарь,  
на вывеску «Хлеб»,  
я теряла предметы,  
теряла угрюмую власть над собой!..  
Надежда манила полоскою света  
у двери,  
неплотно прикрытой тобой...

## Драгоценные встречи

### РУФЬ ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

Семинаром в Талды-Кургане руководила Руфь великолепная, к тому моменту мы были знакомы уже несколько лет. Впервые встретилась с ней в здании Союза писателей на лестничной площадке между этажами, она завершила разговор с кем-то из «классиков» того времени, неким горделивым, седовласым товарищем с тяжелым портфелем из натуральной кожи, непременным аксессуаром всех только что сподобившихся благодати первой публикации в журнале «Простор» и свято уверовавших в свою гениальность. Щеки надуты, нижняя губка выпячена, брови насуплены, взгляд полон восхищения самим собой и презрения ко всем прочим – образ, достойный воплощения в монументе.

Классик поплыл дальше сражать народ своим величием. Я подошла к Руфи Тамариной и сходу, передав привет от давней её знакомой из Усть-Каменогорска, назвала свое имя и протянула рукопись с очень неровными, порой косноязычными стихотворениями. Руфь Мейровна пристально глянула сквозь толстые линзы очков, едва заметно иронично улыбнулась, оценивая мою провинциальную решимость (нас никто не представил друг другу), при этом завитки ее пышной прически слегка дрогнули, крупные, красиво очерченные и умело подкрашенные губы уже почти смеялись, но по-доброму, и, пообещав ознакомиться, назначила встречу у неё дома через несколько дней.

На прощанье Руфь одарила тёплым сердечным взглядом и похвалила мой весьма экстравагантный наряд – полупижамный брючный костюм и шляпу из серой соломки, украшенную искусственными ромашками. У меня хватило ума и решимости сделать ей комплимент в ответ. На Руфи красовался необычный, как всё, что её окружало в жизни, лилово-зеленый наряд, туфли чернильного цвета на изящных каблуках довершали её неординарный облик.

Тогда ей было почти пятьдесят, теперь бы я сказала иначе: она вступила в золотой возраст, когда женщина настоящая, чувственная, умная, ироничная хорошеет необыкновенно.

Она рассказывала:

– В ранней молодости мужчины обращали на меня внимание не так часто. Симпатичное личико, но не хватало шарма, изюминки. Девушка, что называется, кровь с молоком, словно сбежавшая с плаката или выскочившая прямо из песни, которую распевала вся страна. Меня стали замечать после сорока, прежние мои друзья вдруг видели, что я изменилась – и уже не похлопывали как товарища по плечу, а, целуя руку, говорили: «Тебя не узнать, время добавило перчика и шика, теперь ты не кустодиевская краснощекая простушка, глаз горит, идешь – и все мужики оглядываются, а умные под локоток подхватывают, такую женщину на руках носить хочется».

Известный на всю страну поэт, картинно перекинув ногу на ногу, добавлял:

– Интересный ты бабеч, Руфь, в тебе так много женщины! И это будоражит, как хорошее выдержанное вино.

Восемь лет в Карлаге стали для Руфи не только тяжким испытанием, но и закалили характер. Мудрые женщины-политзаключенные научили не только выживать, но и за колючей проволокой оставаться привлекательной, насколько

это возможно в неволе, в собачьих условиях, когда вместе с соседками по бараку Руфь переделывала безразмерные страшные ватники, нелепую грубую обувь в более приятные для глаз облачения. Именно там Руфь научилась искусно шить и всю жизнь гордилась этим умением даже больше, чем поэтическим талантом.

Любуюсь женщиной.

Она

на легкой ткани разложив лекало,

о летнем платье думает.

Сначала

ее волнует платьица длина.

Она мечтает, полотном шурша,

о шелковом, трепещущем, лиловом.

О, до чего же хороша душа,

одетая в летящие обновы!

И это – женщин вечная черта –

преображаться весело и смело:

всего лишь платье легкое надела –

и нет морщинки горестной у рта!

Это стихотворение, конечно, адресовано Руфи Великолепной и написано в пору, когда она, уже седая и много испытавшая, с необычайной легкостью парила по Алма-Ате на своих изящных каблуках.

Однажды вместе мы должны были идти в Союз писателей, и я зашла за ней. Руфь, полуодетая, стояла у зеркала и примеряла новую кофточку, которую только что сшила из купленной в магазине уцененных товаров мужской шелковой рубашки. Руфь разглядывала себя с явным удовольствием и с победной интонацией доносила до меня историю волшебного превращения ненужной вещи в совершенно необходимую.

Серый цвет не лучшим образом оттенял особенную восточную красоту Руфи, но она так энергично и с достоинством, и неповторимой женской повадкой несла себя, шагая рядом по Коммунистическому проспекту, что все встречные мужчины смотрели на неё, как на неожиданный праздник, и улыбались. Она, чувствуя внимание, двигалась как на подиуме и успевала на ходу беседовать со мной.

Помню этот королевский выход еще и потому, что читала на ходу свое новое стихотворение, а Руфь, с интересом выслушав его, вдруг сказала: «Люба, ты – поэт!» Это было настолько неожиданно, что я на минуту приостановилась. Первая серьезная похвала от Руфи дорогого стоила.

Вот несколько строк из того памятного стихотворения:

Нас разделяет стылое пространство,

тревожит душу холод дальних звезд.

Но суть людей сближает постоянство:

клочок земли и голосистый дрозд.



Клочок земли, засеянный снегами,  
он полон птичьим ветренным жильем.  
Клочок земли, ухоженный руками.  
В него зерном живучим упадем...

Приезжая в Алма-Ату, прежде спешила показать именно Руфи свои новые стихи, самородком она меня не считала, но, видимо, ростки серьезного творчества разглядела, иначе зачем бы ей со мной возиться столько времени. Стихи она разбирала основательно, придирчиво, сказывалась отличная литинститутская подготовка, несомненное большое поэтическое дарование и опыт работы над стихотворными сборниками, еще добавлялась полезная в таких случаях требовательность и бескомпромиссность, она не прощала неточных слов, вялых и размытых образов, не терпела всяческого рода небрежность, незавершённость, непродуманность.

Мои искренние, порой очень несовершенные поэтические эксперименты, попадая к ней в руки, моментально покрывались сетью негодующих знаков и замечаний. Когда она критиковала глаза в глаза, а не в письменном виде, меня лихорадило внутри, ладони жарким летом становились ледяными от волнения, но я слушала внимательно и старалась скрыть от Руфи свое смятение, сознаюсь, ни на одном свидании с мужчинами, никогда в жизни я так не волновалась, как на этих встречах.

Как-то в комнату заглянул удивительный, добрый, чуткий, мудрый муж Руфи Мейровны, Михаил Гаврилович, и позвал нас попить чайку, а, заметив мое смятенное состояние, достал вишневой наливочки и предложил согреться. Руфь всё не выходила из наставнического образа, наседала на меня за неудачные строки и твердила:

– Пробей свою скорлупку! Научись точно выражать чувства и мысли. Ты взялась за мужское дело – и не жди снисхождения, поэзия требует полной самоотдачи, иначе ничего не получится.

Если бы не уроки Руфи, я бы, пожалуй, не научилась видеть неточности, не смогла бы стать требовательнее к форме выражения чувств, так и не услышала бы внутреннюю музыку, без которой стихи неловки и беспомощны, не смогла бы беспощадно критиковать свои «перлы». Ее ликбез для провинциальных молодых поэтов лучше университетов устранил преграды природной глухоты, непросвещенности, местечковой ограниченности.

Откровенничать с Руфью никогда не пыталась, соблюдала дистанцию, о своих личных неудачах молчала, но она временами почему-то сама заговаривала о моих потаенных тревогах:

– Браки совершаются на небесах, поверь мне, судьба и на печке найдёт, просто ты еще не вошла в свой возраст любви, когда женщина, а ее в тебе больше чем достаточно, внезапно хорошеет, и полюбоваться слетаются любопытные мужчины. Остается выбирать достойного.

Часто мой приезд совпадал с днем рождения Руфи в середине июня. Я приносила ей самые красивые крупные черные розы, и она расставляла их в вазы подле фотопортретов Цветаевой, Ахматовой, а в маленьком кабинете, где мы вели долгие беседы о поэзии, непременно были свежие цветы рядом с портретом Мандельштама. На кухне всегда красовался большой букет роз, которые, засыхая, оставались, как воспоминание о прошлом лете, всегда рядом. От неё я переняла привычку засуши-

вать розы, составлять из них натюрморты, потом придумала «Праздник засушенных роз» – и как-то сам собой написался цикл стихотворений с этим же названием.

Многому можно научиться у шикарных женщин, и прежде всего умению преподносить себя. Руфь щедро раздавала советы, однажды определила меня к своему парикмахеру, чтобы он с помощью завивки и модной стрижки преобразил меня. Выглядела я волшебной, но-таки сумела испортить впечатление брючным желто-синим костюмом, который надела на встречу с ленинградскими поэтами. Вечер проходил в театре Лермонтова, и, конечно, Руфи было не по себе, что я буду ее сопровождать в таком виде, лишенном доли элегантности. Глянув на меня пристально, она обронила:

– В приличное место, особенно в театр, не ходят в брюках. Неужели у тебя нет ни одного соответствующего случаю наряда? Ты и на свидания ходишь в таком затрапезном виде?

На Руфи ладно скроенное и мастерски сшитое вечернее лиловое платье сидело как влитое, рядом со мной она смотрелась как королева среди простонародья. Ситуация, хоть провалилась на ровном месте. Я-то полагала, что мой костюм довольно хорош – и тут только увидела, как он мне не к лицу, а брюки не скрывают мои недостатки, а скорее наоборот, вопят о них. С той поры костюм этот я забросила в дальний угол и сшила парочку приличных нарядов, которые Руфь потом одобрила.

На встречу с ленинградскими поэтами мы всё-таки пошли, но чувство неловкости от своего непрезентабельного вида изрядно отвлекало от происходящего. На сцене, как в президиуме, сидели плечом к плечу казахские писатели и гости из Ленинграда, а русские писатели нашей республики все до единого находились в зале и на сцене не выступали.

Вечер оказался затянутым представительским мероприятием. Запомнилось, как ярко, немного с пафосом, выступал Олжас Сулейменов, стихи он читал знакомые, из «Глиняной книги», но в авторском прочтении воспринимались они по-другому.

Из ленинградских поэтов самым знаковым и интересным оказалось выступление А. Кушнера. Кудреватый, суетливый, в крупных очках в тяжелой оправе, мужчина стихи читал без поэтического завывания и актерского позерства, отчего строки звучали в благородном классическом стиле, в котором, собственно, и были написаны.

## ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ

При случае, желая пробудить дремлющие силы творчества, Руфь давала мне в руки сборники современных поэтов. Однажды книжка «При любой погоде» московской поэтессы Надежды Григорьевой зацепила меня, и, если к поэзии Руфи, ясной, точной, но слишком, на мой взгляд, традиционной, в то время я относилась со сдержанным почтением, по большей части, то стихи Григорьевой со второго прочтения сборника стали почему-то родственными, созвучными, запоминались сами собой. Это означало, что мне есть чему поучиться у этого мастера слова. Руфь мои восторги приняла как должное, словно она заранее знала, как взбудоражит меня этот небольшой сборничек, и, внимательно приглядевшись ко мне, сказала:

– Хочешь, я дам тебе адрес этой поэтессы? Она моя давняя знакомая, и ты напишешь ей о своих впечатлениях по поводу сборника.

Всем и повсюду я твердила строки Надежды Григорьевой: после недавно пережитого горя они меня поднимали и спасали, в них я находила силы и желание жить дальше.

Птица феникс бестолковая  
успокоится едва,  
глянь, из пепла лезет новая,  
пепельная голова.

Глянь, опять втыкает перышко  
в обгорелое крыло!  
И опять восходит солнышко  
неизбежности назло.

Написала Григорьевой проникновенное письмо и вскоре получила благожелательный ответ:

*«...Ваше письмо неожиданно вдохнуло в меня силы – сознание, что кто-то тебя знает, кому-то ты нужен».* (11.09.1983. Письмо Н. Г.)

Григорьева дала добро на встречу, и в тот же год мы увиделись в Москве. Она жила с сыном на Хорошевском шоссе в небольшой квартирке, в комнату зашли лишь на минутку за книгой, которую Н. А. мне подписала, потом пили чай на кухне, маленькой, как скворечник, и говорили о поэзии. Если в доме Руфи из всех углов выглядывали милые безделушки, отчего из ее дома не хотелось уходить, он согревал сердце необходимыми излишествами, квартира Григорьевой казалась пустоватой, как-то неуклюже обставленной, а кухня и вовсе смотрелась странно, словно на ней не готовили, а лишь иногда разогревали полуфабрикаты и пили чай. Впрочем, это отступало, едва мы заговаривали о поэзии, причем не было такой четкой границы: учитель – ученик, как в беседах с Руфью.

Надежда Адольфовна не наставляла, не пыталась разнести в пух и прах мои вирши, не превращала нашу встречу в сражение за истинную поэзию. Григорьева сразу приняла мой способ восприятия мира и никогда не говорила о творческой беспомощности, возможно, еще и потому, что я пришла к ней не зеленой и наивной, а вполне зрелой и определившейся в своих приоритетах. Внешне Надежда Адольфовна степенная, полноватая, спокойная и немногословная, с миловидным, но навсегда сосредоточенно-печальным лицом. Очки с толстыми линзами усиливали это впечатление, и казалось, что она всегда смотрит на тебя и почти не видит, а ее взор по-настоящему обращен внутрь; но речи она произносила не отстраненные, стихи, особенно стихи, слушала с обостренно-сосредоточенным и сердечным выражением лица. Еще оно имело особое свойство теплеть и хорошеть в моменты, когда она волновалась или радовалась чему-нибудь. Мои стихи пришлись ей сразу по душе. Как ни странно, благодаря нашим беседам в письмах и наяву я стала свободнее от взглядов свыше.

*«Не слушайте местных гениев. Искать изыски формы – последнее дело. Если они придут, то придут сами, как выражение неповторимости личности автора. А найденные нарочно, через силу, формальные изыски сидят как пальто с чужого плеча...»*

*Я рада, что вы много писали – сама почти не пишу. Работайте – я верю в ваш талант. И не слушайте местных критиков. Они ничего не понимают. Пишите без всякой оглядки на их вкусы и мнения».* (Из письма Н. Григорьевой)

Так в мою жизнь вошла поэтесса Надежда Адольфовна Григорьева, которая, в отличие от Руфи, сразу оценила мой талант. Видимо, с Руфью нас сближало общечеловеческое, особенно женское, а с Григорьевой роднило нечто творческое идущее от самого способа самовыражения, от мировосприятия. Григорьева и я, грешница, совпадали даже в степени эгоцентризма, в странных восторженных и мрачных ощущениях, порой несколько преувеличенных.

Надежда Григорьева стала для меня самым близким интонационно поэтом. Ее последующие сборники, которые она мне презентовала, нравились все без изъятия: «Твердое небо», «Открытый звук». Автобиографическая проза «Кураж» (о военном детстве, о сложной, порой трагической судьбе) читалась и перечитывалась многими моими литературными товарищами. Ее боль живо откликалась во мне, стихи Григорьевой становились всё драматичнее, всё больше горьких интонаций просвечивало сквозь самые простые строки. Болезни окружали всё теснее, а главное, уходило зрение: письма становились короче, написанные крупным неразборчивым почерком строки ползли по наклонной от верхнего края листа к нижнему, но она умудрялась даже в самых коротких посланиях поддерживать меня. На «Иртышанку» Н. А. отозвалась одобрением.

*«Мне и ваши стихи, и весь сборник понравились. Уровень вполне московский. Ваши стихи, по-моему, выбраны удачно. Это та самая спокойно-раздумчивая ваша струна, которая мне нравится...»* (Из письма Н. А. Григорьевой)

В один из приездов в Москву, благодаря протекции Н. А., я попала на поэтический вечер в Дом литераторов. Григорьевой хотелось всегда хоть немного приобщить меня к московской литературной жизни. Серьезные мэтры Союза писателей, в том числе и Надежда Адольфовна, сидели на сцене, за столом, а перед ними выступал некий громогласный, довольно молодой поэт, который выглядел презентабельно, но стихи поражали не образностью (ее-то как раз не хватало), не оригинальностью, он ошеломлял некой техногенной инструментальной, отсутствием главного в поэзии – тепла души и даже сочувствия «героям» его же лирики. Он поведал в одном из перлов о старой деве-математичке, и общий унылый тон стихотворения довершали строки:

«И словно в помойную яму,  
в цветной телевизор глядит...»

Хвалебными речами растекся какой-то модный и молодой критик, но его быстренько укротили, и Надежда Адольфовна, со всей четкостью и ясностью, разбила доводы критика несколькими фразами:

– К поэзии то, что мы сейчас услышали, не имеет никакого отношения, да и к литературе в целом тоже, попытка оригинальничать и умение рифмовать не дают оснований говорить о творчестве. В данном случае, его просто нет.

Критик покраснел от негодования, пытаясь что-то возразить, донести до слушателей, как гениален представленный поэт, как ловко он жонглирует строками, но ему возразили и маститые поэты, и присутствующие зрители.

Ночью мне приснился странный сон: я подходила к некой металлической конструкции, и мне навстречу бежал дикобраз, растопырив металлические иглы, они позвякивали, ударяясь друг о друга, дикобраз смешно пыхтел.

Мастер техногенных фраз,  
весь в стальных иглах.  
Чешет словно дикобраз  
и пыхтит без толку.

Прозвучали эти строки во сне, но когда я проснулась, во рту был странный металлический вкус, и меня подташнивало от того, что я только что увидела и услышала. Фамилия автора, на вечер которого я попала, испарилась из памяти мгновенно, но ощущение тоски, пустоты и безысходности, которое накрыло меня на вечер и продолжилось во сне, возникало тотчас, когда я вспоминала этот эпизод. Чем-то стихи этого «дикобраза» напоминали мутные рассуждения знакомого моей юности о киборгах. Встреча с таким конструкторским словотворчеством оказалась полезной, отвратила от излишних надуманных экспериментов, которые, не скрою, какое-то время казались мне вполне уместными. С той поры я писала, как велела душа, а если ей хотелось помолчать, покорялась и не выдавливала из себя строки и образы.

Григорьева постоянно стремилась помочь мне реально, хотя я ни о чем подобном не просила: то пыталась пристроить подборку стихов в один из журналов, то знакомила меня с московскими поэтами, то непременно доброжелательно оценивала мое продвижение по творческому пути. Когда вышел коллективный сборник «Горизонт» (1986), я отправила один из экземпляров Н. А. – и она тотчас отозвалась.

*«Стихи ваши понравились. По-моему, они одни из лучших в книге. Они просты и полны органического чувства. А я по-прежнему считаю, что это главное для поэта и поэзии».*

Между нами ощущалась ясно обозначенная, прежде всего со стороны Н. А., дистанция, меня она не тяготила, а преграды возраста и статуса перепрыгивать я не хотела. В начале двухтысячных связь внезапно оборвалась: на мои письма не было ответа. Только недавно узнала через интернет, что Надежда Адольфовна умерла еще в 2001 году, когда вышла в издательстве ВКГУ моя вторая книга «Письма на лепестках сна», я ее отправила в Москву через свою подругу, но на звонки никто не отзывался, и открыть дверь уже было некому. Некому было рассказать, что Валентина Савченко написала несколько песен на стихи Григорьевой, что читатели нашего города полюбили стихи и прозу Надежды Адольфовны (ее сборники перечитали все участники радиоклуба «Крылья», ее стихи стали неотъемлемой частью литературной жизни Усть-Каменогорска).

Поэзия Григорьевой прописана точными энергичными мазками, градус любви и правды в них никогда не снижался. Она не была обласкана званиями и регалиями, не летела по жизни подобно громогласным эстрадникам, шла трудно и упорно, отважно не уклонялась от призвания и служила поэзии, не ждала побрякушек от судьбы, а честно платила за все.

Плачу за нежность мужеством и страхом.

Плачу ознобом за игру огня.

Плачу безвременным и онемелым прахом  
за время, что свистело сквозь меня.

Сердце сжимается с болью, когда вновь и вновь, как молитву, повторяю эти строки. Они не только помогают мне всю жизнь оставаться стойкой, но и каждому, кто их прочитает, даруют мужество и силу. Когда-то в детстве я была ушиблена правдой, а Надежда Григорьева утверждала, наряду с глубинным виденьем мира честность как главный постулат творчества.

*«Как научиться глубже жить? На этот вопрос нет ответа. Вернее, для каждого свой. И я думаю, чем больше талант, тем ярче и глубже он чувствует мир и себя – потому и талант. А там – честно и до конца говорить обо всем правду».* (Из письма Григорьевой, начало 1980-х)

Понемногу правда проступила и сквозь мои стихи, когда судьба преподнесла мне несколько жестоких уроков и ударов. Для истинной честности приходится жизнь положить. Вот теперь, когда у меня многое отнято, когда я заплатила свою мзду, жестокая бескомпромиссная правда стоит рядом и не собирается оставлять в покое.

Большой поэт – Надежда Григорьева до сих пор через свои книги и письма беседует с моей душой, знаю, и в грядущем ее стихи отзовутся в сердцах читателей. Предвижу время, когда серьезный разговор о ее поэзии докажет, что не шумовые эффекты и социальная актуальность важны в стихотворчестве, а проникновенный, волнующий исповедальный голос, не символы и недосказанности постмодерна, а ясное, чувственно точное виденье человека (сильного и слабого одновременно).

## ПОСИДЕЛКИ С МОСКОВСКИМИ ПОЭТАМИ

Москва меня тянула как магнит, в начале 80-х почти каждый год отпуск проводила в столице, благо, что от остановки «Стройка», где неподалеку проживали мои дорогие Горячевы, всего полчаса езды на электричке до Курского вокзала, а там рукой подать до Садового кольца. Заранее продумывала магазинные и туристические маршруты, чтобы с наименьшими потерями успеть и красотой насытиться, и приодеться дешевле и элегантнее, нежели в родном городе.

Один из приездов в Москву пришелся на морозную зиму, когда познакомилась сразу с несколькими поэтами, близкими мне по возрасту, да и по духу: с Ниной Константиновой, худенькой, талантливой и очень сердечной хозяйкой дома, где мы собрались, с яркой красавицей и умницей Ниной Габриэлян, с Александрой Спать, спокойно-независимой, немного странно одетой, лично, несомненно, интересной. Смутно запомнился полноватый, несколько невнятный поэтический собрат неопределенного возраста, имя которого стерто временем.

Атмосферу вечера задавала хозяйка, в меру интеллигентная и приветливая, без налета столичной брезгливости к провинциальным поэтам, поэтому после бокала вина всем гостям стало легко и весело. Каждый шутивно представлял себя сам, следом читал стихи. Поэзия женской части нашего застолья меня очаровала достойной простотой, образностью, точностью выражения чувств, стихи полноватого мужчины отдавали некой вторичностью и ранили слух множеством смутностей и банальностей.

Засиделись за полночь, и мне пришлось переночевать у Нины Константиновой. Когда ушли гости, я рассказывала о своих музейных тропах, ненароком заговорила о том, что большинство куполов Кремля после недавней позолоты выглядят несколько вульгарно, как рот, полный золотых зубов, и не вызывают прежних молитвенных образов, только купол Успенского собора по-прежнему светится благородно. Нина радостно улыбнулась и рассказала мне, что работает в специальной лаборатории, и особое покрытие куполов Успенского собора золотом по старинному рецепту разработано в их центре.

На новом месте я спала как младенец, словно не только радушная хозяйка приняла меня на постой, но и сама квартира решила, что я своя. Мы неожиданно приглянулись друг другу: и книжный стеллаж во всю стену, полный редких изданий, которые обещали часы сладостного особенного чтения, и большой, чуть ли не в половину комнаты, письменный стол, за которым хотелось посидеть и поработать над рукописью, и глубокое, широкое кожаное кресло, в котором хотелось сидеть, поджав ноги, и беседовать долго с хозяйкой о поэзии, об искусстве. О большом портрете загорелой и счастливой Нины, который висел над кроватью, я размышляла, пока меня не одолел сон.

Позднее в доме Нины я познакомилась с Ольгой Постниковой. Мы сидели втроем на кухне, украшенной разделочными досками, расписанными в стиле японской гравюры сюжетами из жизни гейш, отчего обычная кухонька казалась местом не только теплым, но и овеянным восточной поэзией. Множество досок разной конфигурации изготовил муж Нины, а расписала их она сама. Как я люблю, когда поэзия и красота вторгаются в самые прозаичные уголки жилища!

Тогда я бредила Японией, поэтому мы сначала, пока собирали на стол, пожурчали о старинной японской гравюре, о выставке современной графики в музее Восточного искусства, где мне повезло побывать. Впечатление оказалось ошеломляющим, поэтому слегка захмелевшая Ольга Постникова никак не могла отвлечь нас от восторгов по поводу восточного ветра в современной поэзии и живописи.

Сиделось очень славно, и вскоре с беседы о гейшах мы перелетели к эротичным стихам. Ольга прочитала одно из своих откровенных «ню», написанное жаркими мазками, оно запоминалось необычным способом, в памяти оставались не строки, а атмосфера стихотворения, плотский запах, жар прикосновений и почти музыкальная сила, полет страсти. Мое лирическое откровение Ольга восприняла с теплом и интересом, наши манеры не то что не были близки, а скорее отличались друг от друга как небо и земля, но мне после ее стихотворения собственное творение почему-то показалось беспомощным, хотя прежде я так не думала.

Большой бутылки венгерского вермута оказалось явно многовато на троих, но зато разговор наш уносил в самые разные стороны: от любви до издательских мытарств, с которыми были уже знакомы не понаслышке. Всем было как-то особенно хорошо и весело: и нам троим, и даже уютной квартирке Нины, которая вместе с хозяйкой полюбила меня.

С Олей мы не встретимся. Нина, которая долго оставалась связующим звеном с остальными московскими поэтами, передаст мне первый сборник Оли Постниковой, ее стихи и статьи встречу много позднее в «Новом мире», когда уже страна будет разорвана на части. Публикации Нины Габриэлян, Нины Константиновой, Александры Спаль в толстых журналах стану часто перечитывать с чувством отрады и печали. Жаль, что недостижимой стала Москва и невозможны встречи

с этими хорошими поэтами, отрадно, что хотя и недолго, общалась с теми, кто учился мастерству у Олега Чухонцева, к поэзии которого меня и многих ребят по альтернативному литературному молодежному объединению приобщил Владлен Мейерович Шустер.

## МОЛОДЕЖНАЯ СТУДИЯ ШУСТЕРА

Задолго до нашего знакомства от Татьяны Сидехменовой (Кондрашиной) знала об академическом образовании и потрясающей начитанности Шустера, а также о его удивительном умении отделять рифмованный суррогат от настоящей поэзии. Первая встреча состоялась в редакции газеты «Рудный Алтай», где он работал в сельскохозяйственном отделе, но все местные поэты, равно как и графоманы, стекались со своими «перлами» именно к нему.

В редакционную комнату влетел энергичный, крепкого сложения, кудрявый мужчина средних лет, в ту пору еще довольно стройный, а в богатой шевелюре еще не проблескивала седина. Он казался большим, громогласным, мудрым, как библейские старцы. Его глаза пристально, взыскательно смотрели на всё вокруг.

Мне поначалу казалось, что острый взгляд следователя по особым делам предназначен именно мне. Я внутренне поеживалась под этим взглядом и остальные черты лица почти не воспринимала, и если бы меня спросили, хорош ли он, я, пожалуй, ничего не смогла бы ответить. И эта легкая испуганная оторопь первой встречи сказалась на стиле наших отношений, никогда я не называла его в глаза по имени, только в пару с отчеством, а за глаза чаще по фамилии. Смешанное чувство почтения и привычка видеть в нем только учителя с годами усиливалось, хотя ребята из нашего литературного круга держались с ним вполне панибратски. Мне в ту пору было лет 25, и «литературная безнадзорность» просвечивала сквозь любое стихотворение. Принесла я свои вирши, но по реакции мэтра, которая выражалась даже не в словах (они-то как раз были сдержанно одобрительными), а в особой интонации, во взгляде, чуть ироничном, отчетливо и с грустью поняла, что стихи ему показались, что называется, сырыми и не очень мастерски написанными.

Слава Богу, в графоманы он меня не записал. О публикации говорить не стала. Шустер отметил слабые строки в моих стихах. Мнение о «перлах» В. М. выразил коротко: нужно упорно работать над словом. Поняла это не только как отсылку в направлении мудрой литературы, но и как намек на неуместность дальнейших разговоров. Время показало, что мое сознание сильно исказило истинное впечатление мэтра обо мне.

Так или иначе, но спустя пару лет Владлен Мейерович решил организовать, в противовес официальному объединению и так называемой «чистяковской» школе литературного творчества, свою Молодежную студию. Первая встреча состоялась поздней осенью 1978 года, в небольшой комнатке на верхнем этаже ЦДК собралось человек пятнадцать, кого пригласил Шустер, чье творчество ему было интересно. Ни одно из предшествующих и последующих литературных сообществ не могло похвастаться таким ярким талантливым составом, не всех участников первой встречи помню, но те, кто удержался в молодежной студии, предстают как на ожившем фотоснимке.

По своему обычаю я сидела подальше от мэтра, поближе к двери, рядом со мной незнакомая девушка (из женщин нас было только двое), Шустер назвал ее Нина



Каткова. При умеренно высоком росте, всё в ней смотрелось крупным, рельефным, отчетливым, что называется, хорошей скульптурной лепки, ее легко было представить в одежде римских матрон, а лицо с волоокими очами, с прямым, великолепно очерченным носом, с капризно выпяченными светло-розовыми губами, напоминало мраморный лик греческой богини. В неприглядной джинсовке, – о которой она, судя по всему, не очень заботилась, – Нина держалась так же естественно, как некоторые дамы в модных туалетах.

Нина для знакомства прочитала одно из своих стихотворений, в котором сразу обнаружилось не только поэтическое дарование, но и острое зрение художника – главный ее талант. Стихи она писала только нерифмованные, но это свойство не мешало всегда оставаться оригинальной и интересной, и в своих картинах, как выяснилось немного позже, и в коротких стихотворениях она передавала свои эмоции через образы, через цепочку тончайших аллюзий. К ее творчеству можно было относиться по-разному, но она никогда не впадала в смутную и невыразительную дневниковость.

Что я читала, не помню, но навсегда засело впечатление от хорошего стихотворения, посвященного Есенину, которое стоя читал высокий русоволосый парень в очках – Леонид Кузнецов. Он, видимо по своей многолетней привычке, вглядывался вдаль и, не размахивая руками, спокойно, достойно и отчетливо произносил каждую строку. В дальнем углу, рядом с Шустером, притулился Юра Плеслов в своей вечной шляпе, в цветастой рубашке и в полосатых брюках, наряд поражал воображение, и не только мое. Юру я отлично знала по литературному объединению Чистякова, пределы коего я уже покинула, но Юра, мудрый и выдержанный, посещал оба творческих единения. На встрече он прочитал стихи из будущей поэтической книги. Благодаря участию Юры в тот же год появилась моя первая публикация в многотиражке «Титан», с теплым представлением читателю, а главное, стихи остались не искаженными, не искалеченными. С той поры мы подружились крепко, на всю жизнь.

Общих друзей-товарищей всегда множество, но литературная жизнь города, даже нашего, вполне провинциального, циклична: то одна литературная группа правит бал, то другая. Льются потоки негодования друг на друга, бывшие пророки ниспровергаются, но литературный процесс течет себе дальше, вбирая в себя и консерваторов, и новаторов.

Вечно спорил и соперничал с Шустером Евгений Курдаков, но на эту встречу он пришел и, сидя рядом с ним, бросал реплики, едкие, довольно точные, по поводу стихотворений приглашенных ребят, потом, заняв горделивую позу, читал стихи о баклушах, «Нашу стаю». Впечатление осталось мощное, объемное: его поэзия уже тогда ощущалась как явление, нарочитая поза забывалась, навсегда запечатлевалось веянье мощи и силы, и непривычная протяжность ритмов ошеломляла своим элегическим настроем.

Рядом с маститым поэтом сидел невысокий светловолосый и щупленький юноша непонятного возраста, Юра Фоменко. Меня поразили его огромные серые глаза, которые смотрели, казалось, в разные стороны, и навсегда запомнились яркие строки его стихов.

«Солнечно! Солнечно!  
Солнечно до боли!»

Несколько слов. Но с таким жаром он их выплеснул, что казалось, это только пролог к большой поэтической судьбе. В те времена он следовал за Евгением Васильевичем повсюду, как верный оруженосец, потом ветер судьбы унес Юру по морю журналистики, и о стихах Юры больше не было слышно. Еще один грустный казус литературной жизни: приходит юный человек с ярким виденьем мира, наделенный от природы чувством слова, умеющий слышать музыку пространства, поет пару-тройку дивных песен, упивается восторгом окружающих, и вдруг понимает, что ничего больше не слышит, окружающее тускнеет – и стихи больше не приходят.

На той знаковой встрече в молодежной студии я впервые увидела Долганова – интересного прозаика и друга Курдакова. Темноволосый, кареглазый, довольно subtilный и высокий, смуглый, словно подернутый окалиной. Из своего угла он серьезно, полувопросительно поглядывал на всех ребят и помалкивал, графичность и загадочность его облика помнится донныне.

Ровесники Шустера, сидевшие напротив меня, Валерий Мегеть, похожий на длинноносого фавна, и Александр Редадь (Феокитистов), невысокий, смешливый вечный студент, похожий на пролетарского вождя, держали себя как заезжие знаменитости, стихи читали так, словно знали, что бесспорно гениальны, в чем изрядно сомневались окружающие (судя по выражению лиц). Впрочем, у каждого из них довольно было мастерства, образы живые, плотные, чувственные не болтались эфемерными привидениями между строк, а смотрелись объемно, ярко, как яблоки на ветке.

Если бы не мощное притяжение личности Шустера, мы никогда бы не объединились, могли даже по касательной не пройти рядом друг с другом. Молодежное альтернативное объединение под началом Владлена Шустера кочевало по городу весь 1979 год, пока не приникло в полном составе к профсоюзной библиотеке «Алтайэнерго», где я работала почти восемь лет. Стоило свистнуть, ребята сбегались выпить портвейна, зажевать фирменным бутербродом с килькой в томате, а главное, обменяться творческими новостями.

Встречи наши не носили официального статуса, скорее всего, главную скрипку играл Шустер, его энциклопедические знания, несомненный литературный вкус ценили все в нашем сообществе. Стоило В. М. упомянуть о недавно изданных сборниках Т. Бек, О. Чухонцева, Ю. Кузнецова, К. Некрасовой и подобных, мы спешили их достать: случайные, проходные произведения Владлен Мейерович никогда не предлагал для обсуждения. Даже мощно заявивший о себе как поэт Е. Курдаков не вызывал такого уважения и любви в нашем кругу, как Шустер.

Пока ребята и дамская часть нашего содружества поднимали галдеж и с пеной у рта спорили о законах поэзии, мэтр молчал, и лишь когда спорщики уставали от собственной горячности, подводил итог ясно и коротко – и всем было странно, что пара часов болтовни не приблизила к решению проблемы, а истина проста.

Свои стихи Шустер читал очень редко и к своему призванию относился с легкой иронией. Личностно мощный, энергичный, громогласный, он дослужился только до заместителя редактора «Рудного Алтая», дальше не пустили завистники и пустоголовые начальники разных мастей: многие чиновники от власти его побаивались, и почти все представители власти недолюбливали. Обычное явление: не прощают тусклые чиновники прежде всего блеск ума и смелость, талант и щедрость, поскольку глупца и труса, бездаря и скупца подмять и подчинить легко.

Шустер всегда оставался отважным, ни перед кем не стелился, шел по жизни шумно, мощно, в редакционных коридорах его басовитый голос издали оповещал: приближается лучший друг поэтов и гроза графоманов. По телефону он заявлял о себе отрывисто, как генерал на плацу:

– Приветствую вас, Шустер на связи!

Честно говоря, долго не могла привыкнуть к его командному тону, к характерному язвительному смеху, который следовал за вступительными фразами разговора. Казалось, он каждый раз проверяет собеседника на сообразительность и чувство юмора. Между ним и нами, рядовыми студийцами, существовала незримая преграда, из-за неё он поглядывал насмешливо и печально, наблюдал, как мы резвимся и пытаемся оседлать Пегаса, как упорно карабкаемся на Парнас, иногда советовал, как оказаться на литературных вершинах. Косой десяток лет его любимой ученицей оставалась Татьяна Кондрашина, которая ловила каждое слово Шустера о литературе. В четырнадцать, когда она делала свои первые шаги в творчестве, Михаил Иванович возвел ее на пьедестал как юное дарование, но в поисках истинного наставника она набрела на Владлена Мейровича. С той поры только его советы стали для нее непререкаемой истиной, даже учиться она поехала в Томский университет, который закончил в свое время Шустер.

После того, как мы по воле Владлена Мейровича побывали на семинаре молодых литераторов в Талды-Кургане и вернулись оттуда вдохновленными, он, весело глянув на нас, предложил:

– Девчонки, вы созрели, пора издавать первые сборники, отправляйтесь летом в Алма-Ату, тем более что коллективный сборник с нашими стихами уже на подходе, вот-вот выйдет в свет.

## МОЙ ДРУГ ВОЛОДЯ

В Талды-Кургане мы провели с Татьяной три удивительных дня: из морозного Усть-Каменогорска попали в южный город, снега не было, – и это посреди декабря, – пирамидальные тополя были полны крикливых ворон (так у нас только в апреле они вопят о любви), вздымая пыль, дворники подметали тротуары.

В первый же день мы подружились с юными поэтами из Семипалатинска. Было так тепло в городе и во время наших посиделок, что сердца наши разнежались и чуточку все, ненадолго, влюбились друг в друга. И мы дарили на память строки, гуляли вместе по незнакомым улицам, откровенничали напропалую. Нам не хотелось расставаться, поэтому вместо короткого обратного пути мы выбрали с Таней длинный, через Семипалатинск.

Утром поезд летел по заснеженной степи, – и я не могла отвести взгляд от ровного пространства за окном: вспыхивали и гасли под лучами солнца крупные алмазные созвездия. Больше никогда не видела такого волшебного праздничного снега.

Ближе всего тогда мы сошлись с Бораховской Любой, позднее, когда я приехала спустя полгода на протезирование в Семипалатинск, она пригласила меня к себе в гости, чтобы угостить фирменным борщом: в стационаре кормили отлично, но не стала отнекиваться, мне было интересно, как живет Любаша, интеллигентная, немногословная, создающая интересные поэтические миниатюры.

Жила она в ту пору со своим третьим мужем в низеньком доме недалеко от центрального базара. По доброте душевной она позволила знакомым в пустующем

сарая держать свиней, поэтому, когда мы вошли во двор, дикая вонь чуть не сразила меня наповал, а полчище мух с басовитым гудением кинулось нам навстречу. Мы скоренько прошмыгнули в дом. В низеньких, чистеньких, но темноватых комнатах книг в шкафах и на стеллажах стояло так много, что мне показалось, попала в библиотеку. Есть такие комнаты, где живут-поживают книги и лишь позволяют где-нибудь в уголке притулиться человеку.

Любина душа в ту пору до краев оказалась полна литературными образами, но слишком глубокое погружение в мир, придуманный большими писателями, на мой взгляд, мешало свободному дыханию ее поэзии, поэтому, наверное, она всегда казалась то ли чем-то обиженной, то ли элегически печальной. Так или иначе, с ней беседовать было одно удовольствие: опусы мои или знакомых поэтов оценивала здраво, точно, в двух-трех словах, но без излишней доли язвительности, радовалась откровенно удачам друзей по перу. Однажды в городском парке она познакомила меня с Евгением Титаевым, есть фотография, где мы сидим на лавочке и заливаемся от смеха...

Особое свойство Любы – щедрость: как-то приглянулись ее рижские янтарные клипсы – и она тут же их подарила мне; ни на миг не задумываясь, она отдавала всё легко: добрые слова, книги, свое время (она частенько проводывала меня в стационаре протезного завода).

Лишь однажды она обратилась с просьбой написать ее товарищу по переписке, Володе Тиссену. О нем, о его нелегкой судьбе поведал в своей статье в одной из центральных казахстанских газет друг Володи. Поначалу от писем незнакомых людей у Володи не было отбоя, потом послания стали приходить реже по вполне понятным причинам: здоровые люди быстро загораются желанием помочь, но также быстро остывают, не знают, о чем можно говорить с человеком, попавшим в безвыходную ситуацию. Люба несколько лет переписывалась с Володей, но чувствовала, что плохо понимает его проблемы, и ее письма становились всё короче, и посылала она их всё реже, но добрая душа томилась от бессилия помочь, вот она и решила обратиться ко мне. Перед глазами прошло столько людей необычайных, столько трагедий болью отозвались в моем сердце, что я к тридцати годам была уже тем битым, за которого двух небитых дают, и вполне, даже на расстоянии, годилась в советчики-беседчики.

До двадцати трех лет судьба притворялась милостивой по отношению к Володе. Высокий красивый парень шагал по жизни бодрой, легкой спортивной походкой и часто улыбался солнцу, людям просто потому, что дни были полны музыки, радости и взаимной любви. Его девушку так и звали – Любовь.

Володя прекрасно играл на гитаре, поэтому покориť избранницу ему ничего не стоило, но лучший друг поспорил со случайными собутыльниками, что за пару вечеров отобьет Любу и женится на ней. Парень он был ушлый, с веселой разбойничьей физиономией, с неотразимым, для некоторых девушек, нахрапом.

Вскоре вся улица судачила о будущей свадьбе. Так Володя разом потерял и друга, и любимую... Знакомые девчата не давали прохода Володе, пытались и так, и эдак привлечь его внимание, а ему всё чаще хотелось уединиться, но «невесты без места» не давали покоя.

Однажды, это случилось недели через две после свадьбы Любаши, соседские парни и девушки собрались на реку, жара стояла небывалая, и утянули за собой Володю (как же мы без твоей гитары?). На берегу немного выпили и принялись

дурачиться. Володя взошел на камень, прыгнул, лихо перевернулся в воздухе, нырнул – и врзался головой в подводный валун. Сознание потерял мгновенно, поэтому не видел, как переполошились ребята и кинулись его спасать, не слышал, как закричали девушки. Перелом шейного позвонка, перелом судьбы, парализация рук и ног.

Правда жизни в том, что боль и страдание часто усиливают темные стороны личности, и примеров тому море. Это лишь герои Островского и Полевого не знали слабости, не пили горькую, не матерились на весь белый свет от приступов отчаянья. Реально приговор неподвижности большинство спинальников приводит к наркотикам или алкоголю.

Володя чудом устоял, сначала спасала надежда, что после очередной операции или мучительной процедуры восстановятся хотя бы движения рук. Но шло время, а состояние только усугублялось – если вначале он мог передвигаться на инвалидной коляске, с помощью друзей добирался до клуба и вел дискотеку, то к моменту нашего знакомства надежд на улучшение уже не было, и он пластом лежал и терпеливо сносил неотвязную боль, которая не отступала даже во сне.

Ночами он не спал: диктовал письма, звонил друзьям в разные концы Казахстана. Благо, что он подружился с девчонками телефонистками с межгорода (часто выслушивал их откровения, помогал помириться с парнями, давал хорошие советы, умел растормошить шутками), и они дарили ему возможность бесплатно и подолгу беседовать по ночам с невидимыми друзьями.

Часто меня поднимали звонки после полуночи, и мы часами говорили с Володей о его любимой, которая с бесстыжими глазами, спустя месяц после свадьбы, заявила к нему, плакала, просила прощения, сожалела, что совершила глупость, говорила, что он самый лучший – и возвращалась к мужу, который со временем становился полным деспотом и семейным царьком. Потом она надолго исчезала, писала изредка письма, в которых сквозила жалость к себе любимой, но Володя порой принимал это чувство за нежность. Я не судья, но мне было бесконечно жаль, что у Любы не хватило ума и доброты даже на то, чтобы не беречь Володе душу, и она вновь и вновь возникала и исчезала на горизонте.

Как-то появилась в жизни Володи добрая и умная девушка-телефонистка, хорошенькая и молоденькая, которая при первой встрече, увидев его изможденным долгими страданиями, парализованным, влюбилась всерьез и хотела стать его женой, но Володя не принял этот порыв еще и потому, что немногие письма от Любаши, которые он хранил в изголовье под матрасом и бесконечно перечитывал, грели его сердце сильнее солнышка. Эти письма Володя показывал мне, когда в последний год его жизни гостила в Аягузе. Приехала на Первомайские праздники. Когда впервые увидела его, поняла, почему он торопил нашу встречу. В телефонных беседах он все чаще настаивал: «Приезжай, у меня совсем немного сил и времени».

Какой только инвалидности я не насмотрелась за свою жизнь и давно научилась спокойно воспринимать страдание, но с трудом удержала улыбку на губах, когда увидела молодого, с яркими добрыми глазами высоченного парня, беспомощно распластанного на узкой постели. Изможденное лицо, обтянутое восковой кожей, еще хранило некоторые следы прежней красоты, но тень небытия уже заострила черты.

Сердце сжалось в комок, но я не подала виду, и вскоре мы уже беседовали обо всем на свете, читали друг другу стихи, слушали прекрасную музыку. Фонотека

занимала два шкафа в небольшой комнате Володи, еще два – отлично подобранная библиотека. С его близкими разговаривали мы в основном ночами, когда Володя спал, его средний, очень заботливый брат следовал за мной, когда я выходила проветриться в огород, и по непонятной причине откровенничал со мной, как с сестренкой.

Марта Петровна, Володина мама, измотанная десятком лет ухода за тяжелобольным, говорила мне, когда мы пили чай на крохотной кухоньке:

– Иногда мне кажется, что всем было бы легче, если бы Володя... не мучился столько лет, а погиб сразу.

Она вовсе не ожесточилась, а просто устала смертельно: уход за Володей (подними-ка здоровенного парня, переверни несколько раз на дню, накорми из ложечки!), работа поваром в соседнем детсаде, муж – пьющий скандалист и драчун и младший сынок, хулиганистый баловень, не помогавший ей никогда, ненавидящий старшего за его беспомощность, – всё это измотало Марту Петровну окончательно. Я понимала ее безысходную муку, но список моих утрат и испытаний оказался на тот момент длиннее.

– Пока Володя жив, вам есть с кем посоветоваться, поделиться невзгодами, вы же сами говорили, что никто вам так не сочувствует, как он, никто так не любит. У нас с мамой на руках умирал мальчик тринадцати лет. Это страшно, но самое горькое и невыносимое наступило, когда его не стало.

Минули праздники, и мне нужно было ехать в Семипалатинск. За билетом отправился средний брат, протянула ему деньги, но он ответил, что Володя хочет оплатить проезд и возражений не принимает. Еще ему очень хотелось подарить мне сборник Брюсова, но я отговорила тем, что встреча не последняя и в другой раз не откажусь. Помню, как радостно блеснули глаза Володи, и он улыбнулся на прощанье.

Осенью я вышла замуж, уехала в Экибастуз, письма приходили всё реже, Володя порой не мог даже диктовать послания, силы его убывали. Разговоры по телефону стали невозможны: у нас не было домашнего телефона. В феврале 1986-го у Володи отказали почки, об этом я узнала из письма Марты Петровны, которая писала, что без Володи ее жизнь стала беспросветной.

Мне частенько потом не хватало бесед с моим другом, до сих пор в трудные минуты вспоминается теплый сердечный глубокий голос Володи, его добрые советы (однажды, благодаря его участию, я разглядела подлинную личину негодяя, который морочил мне голову).

Помнится, словно это случилось со мной, его горькая, но трепетная и ясная любовь к подруге юности. Володе, в конце восьмидесятых, я посвятила одно из тревожно-печальных стихотворений.

### Снова свободен

*Памяти В. Тиссена*

Он просыпается в третьем часу,  
Смотрит вокруг удивленно.  
Боль отогнать бы, словно осу,  
Тополя веткой склоненной!

Снова свободен. Свободен от дел.  
День подошел к изголовью несмело,  
Ласковой тенью за душу задел,  
За деревянно-недвижное тело...

Ходит за окнами дождь проливной.  
Капает, капает время на темя!..  
Сад молодой шелестит за спиной  
Мокрыми листьями всеми.

Жизнь неумная дышит дождем,  
Пахнет зазывно из сада:  
– Ты поднимайся, а мы подождем  
С милой твоей у ограды...

## ЭПИСТОЛЯРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Знакомилась всегда легко. Если мне человек с первого взгляда казался интересным, могла проявить инициативу. С Надеждой Черновой, первый сборник которой «Возраст августа» стал заметным литературным событием семидесятых, познакомилась в баре Союза писателей «Каламгер» в Алма-Ате, прежде я видела ее мельком в издательстве, в редакции «Простора», но на этой встрече мы оказались втроем: Люба Шашкова, благодаря которой мои стихи прозвучали на республиканском радио, решила познакомить меня с Надеждой Черновой.

Мы пили кофе за столиком, Люба похвалялась оригинальным крупным резным перстнем из ореха, который великолепно смотрелся на ее красивых руках, Надя с юмором рассказывала о летних приключениях в некоей закавказской республике, где она побывала. Я, конечно, притащила на встречу свои «перлы», о которых подружки отозвались в целом одобрительно, но в какой-то момент наше женское веселое щебетанье превратилось в дружный гомон о романах с незнакомцами, о нарядах, и мы совершенно забыли о первопричине нашей встречи.

Люба вновь покрутила рукой с перстнем и заметила:

– Это мне Руфь привезла из Москвы, она всегда дарит что-нибудь неординарное. Я ее спросила, много ли стихов она написала в «Переделкино», на что она лукаво ответила: «Какие там стихи! Тарковский похвалил мое платье – вот победа!»

Мы так громко рассмеялись, что сидевший за соседним столиком важный и пестрый, как павлин, Геннадий Кругляков удивленно уставился на нашу компанию. Нас позабавило, как удивление на его лице сменилось улыбкой Дон Жуана, и он попытался завязать с нами разговор. Но поскольку поэт оказался изрядно хмелен, мы поспешили расплатиться, улизнув от его повышенного интереса.

С Надеждой я простилась на лестнице и по внезапному наитью спросила:

– Можно вам написать?

На что она с легкостью ответила:

– Эпистолярные отношения – нечто особенное, и, может статься, мы через письма подружимся, охотно вам отвечу!

Умная, ироничная, обладающая хлестким юмором, Надежда совершенно очаровала меня не только несомненным талантом поэтическим, и поначалу не столько

им, сколько особой яркостью, стремительностью, казачьей удалью натуры. Мы совпали по-человечески, по-женски, радостное бурление крови сроднило нас. Хохмы и поэтические мистификации занимали нас в ту пору даже больше, чем сочинение романтических отношений.

Если быть точными, романтические сюжеты возникали в жизни сами собой без особых усилий в те моменты, когда стихи и дела отпускали на волю погарцевать по полям и весям. Вчера еще поникшая, юбочка раскручивалась, как юла волосы ложились на плечи игривой волной, глаза вдруг источали волнуемое сияние, а губы улыбались так загадочно и манко, что встречные мужчины, знакомые и посторонние, тянулись вслед, как пчелы за ароматом цветов. В письмах эти романтические эпизоды порой превращались в художественно оформленные рассказы, иногда печальные, иногда забавные, чаще просто смешные, поскольку реальная жизнь бедна на веселье, не грех немного присочинить и добавить парутройку гротескных деталей.

Надежда в пору гуляния по полям выглядела потрясающе: хрупкая и легкая от природы, любой наряд, особенно с пышной юбкой, несла как королева, ее любимые красно-синие тона необычайно освежали и подходили великолепно к беспечному яркому настроению. Карие глаза полыхали, обычно деловито сомкнутые губы озаряла немного лукавая улыбка, а тонкой лепки смуглое лицо преображалось настолько, что литературные красотки, которые вечно паслись в «Каламгере», рядом с ней казались тусклыми дурнушками. Такой я видела ее не однажды. Пошлая и неуместная игривость глупых женщин чаще всего только портит впечатление о внешности. Лихая цепляющая повадка Надежды, искрометной умницы, поистине сродни вдохновению.

Пару лет мы никак не могли перейти на «ты». В моих порывистых посланиях нарастало желание крепко подружиться. С каждым письмом оно становилось все сильнее, и я, с присущей в ту пору открытостью, распахивала душу, Надежда оказалась сразу великолепным собеседником, который не только интересно повествует о своей жизни, но и умеет выслушать и отозваться на волнения души почти незнакомого ей человека.

Вскоре она сразила совершенно спонтанным природным умением ухватывать смешные детали в самых разных ситуациях. Умные мужчины порою проходили или пролетали сквозь мою судьбу, женщины иногда не уступали им в деловитости и сообразительности, очень часто слыли талантливими, но Надежда, которая даже в печали умела оставаться ироничной, превосходила самых завзятых хохмачей и мудрецов. Они пошучивали, щекотали кожу ироничными замечаниями. Надежда разбрасывала смех букетами, порой герой колкостей смеялся над шутками и лишь потом понимал, что чаровница прошлась аллюром по его заповедной территории. Причем поддевала Надя грациозно и изящно, поэтому успешно осмеянные не злились, а начинали перед ней токовать, как тетерева...

Посмеяться она умела и над собой, с тем же блеском и превосходной иронией, причем банальный случай ей легко удавалось превратить в притчу.

«Накануне праздника шла я на работу под проливным дождем, писала стихи и упала в арычную яму, залитую водой. Выкупалась по пояс... И стихи-то пустячные, но, видно, нельзя – даже в стихах – заглядывать в запредельное: Природа не хочет. А стихи вот такие:



Фантазия моря – узоры на камне,  
стихии немеркнувшей письмена.  
Какой летописец, забытый веками,  
Писал эти строки на быстрых волнах?

Здесь формула жизни? Язык межпланетный?  
История мира? Бессмертия код?  
Никто не узнает.  
Во тьме беспросветной  
По каменным книгам стихия поет.

И тут я провалилась. Дописывать теперь боюсь. Слово имеет магические свойства. Об этом знали Блок и Цветаева, и обращались со Словом очень осторожно. Это осталось в нас еще с языческих времен, наверно. А то, что стихи обладают злой и доброй силой, я на себе проверила. Они могут придуманное превращать в истинное. Как-то я легкомысленно написала:

Я готова к худшим дням,  
К расставаньям и утратам...

И потом последовали страшные разрывы с любимыми мною людьми... Хотела дописать, но каждый раз вместо продолжения стиха случались трагические разрушения вокруг меня».

В этом сюжете, как, впрочем, и всегда, легкая улыбчивая интонация по мановению ее таланта мгновенно превращается в некое магическое действие Надежды Черновой, понемногу становится характерной чертой ее творчества.

Улыбка и слезы психологически достоверно возникают у героев ее лирики и прозы одновременно. Она из тех немногих, кто не столько исповедуется в стихах, письмах, прозе, сколько живописует разные лики людей и времен, иногда двумя-тремя мазками создает запоминающийся образ, полновесный, полнозвучный.

Почти сразу я заметила в Надежде еще одно важное свойство: быстро проникать в самую суть человека, в его характер и говорить с ним, опираясь на то лучшее, что она успела понять и заметить. Жажду откровенности многие спокойно обращали мне во зло, Надежда с легкостью поняла и приняла мои эпистолярные исповеди:

*«Письма-дневники. В них такая свобода души, раскрепощенность, умение раскрыть другую душу, как скорлупу раковины, и непременно найти в ней жемчужину. Мне кажется, Вам и не попадают раковины без жемчужины. Есть такой счастливый дар».* (Из письма Н. М. Черновой. 8.11.1983)

Тогда я жила порой слишком открыто и действительно с особой радостью отыскивала драгоценности в душах людей самых разных, не задумываясь об этом, потихоньку копила их в шкатулке своей памяти, оттого даже в тяжкие времена жилось азартно, и силы прибывали неведомо откуда. Теперь-то ведомо. Приходили они от людей, чужая судьба, озаренная красотой душевной, мужеством и любовью, в разные годы, когда я запиналась о камни на своем пути, вдруг от-

крывала мне свои секреты, и простые события и поступки, трансформируясь в моем сознании, вдруг давали ответ на мой вопрос: как и куда идти.

Письма Надежды Черновой становились необходимы как воздух: она не наставляла меня, не поучала, но разговор о литературной жизни Казахстана, о поэтических пристрастиях, всегда изрядно приправленный шутками, благодаря особенному взгляду Надежды на происходящее, постоянно оставался живым и интересным. Наши провинциальные литературные драчки я подавала в забавном свете. Наверное, из столкновения поэтической и околослитературной братии родилось желание мистификаций, а затем и сами незабвенные образы.

Началось все с курдаковского «Курорта», с несравненного поэта Кислосветова. Забавы ради Курдаков и Розанов из наблюдений за местными провинциальными авторами создали веселую и полезную литературную игру, когда некие персонажи с говорящими фамилиями и с вопиющими поступками превращали жизнь придуманных поэтов в некую мистическую иллюзию, так же когда-то среди поэтов Серебряного века возникла Черубина де Габриак. Главное отличие Кислосветова от прежних мистификаций – яркая пародийность образа, который, по мановению талантливого автора, вызвал большую сатирическую волну и неистовый хохот в рядах алма-атинских поэтов. Вскоре появились на свет мощные, как она сама, вирши поэтессы Энни-Ша, которая моментально обросла кучей многострадальных и много сочиняющих родственников, в эту игру я включилась с большим азартом.

Мой персонаж – знаменитая леди Хвастэрфилд лезла в подруги Энни-Ша и одновременно соблазняла своими нескромными посланиями мужа Энни – Любима Чукчина, писала пародии на Кислосветова, в ту энергичную пору ей стукнуло всего 90 лет. Мы и без того часто перебрасывались поэтическими шутками и порой подначивали друг друга, но с появлением леди Хвастэрфилд наша переписка стала такой же бурной, как плодовая поэтесса леди Хвастэрфилд, которая забрасывала Энни и ее супруга длинными посланиями в стихах и получала от Любима «Достойный ответ»:

От ваших фраз и от намеков грубых  
дрожжит язык, деревенеют губы.  
Я дергаюсь ночами, я кричу:  
«Вампирка! Богохулка! Не хочу!»  
Узнавши вас, я потерял сознание,  
оставьте, леди, ваши притязанья!

Где бедной старушке было соперничать с монументальной женой Чукчина, о постоянных изменах которой леди добросовестно сообщала Любиму, но габариты и масштабы Энни сражали нежного поэта наповал.

Энни-Ша с восторгом описывала свою несравненную красу:

Хочу я полноты и больше!  
Потопа, бури и огня.  
Пусть будет талия не тоньше  
земного шара у меня!

.....

Пусть от моих объятий страстных  
мужчины замертво падут.  
Да, я красива, я ужасна,  
как вулканический салют!

Чтобы передать, часто шутовскую, атмосферу переписки, пришлось бы собрать воедино все перлы участников этой мистификации. Обычная жизнь с болезнями и печалью, творческие взлеты и падения никуда не исчезли в это время, но легкомысленные самопародийные персонажи нашей игры подсвечивали самые темные вечера, и мы скорее выходили из меланхолии, столь свойственной художникам слова.

В посланиях к Надежде иногда с большей легкостью прорывались бури моей смятенной души, нежели в стихах, во мне фонтанировали чувства, я жила шумно, разнообразно, но то, что становилось рифмованной исповедью, всё еще не всегда превращалось в поэзию. В письмах мы вели с Надеждой долгий проникновенный разговор о творчестве, о ярких и необычных людях и о судьбе.

Надежда к тому времени стала мастером слова и свободно управлялась и с издательской, и с редакторской работой, поэтому я особенно ценила ее непредвзятое, порой по-мужски жесткое мнение о моих стихах. А между тем, меня мучил болезненный разрыв между сказанным и несказанным с каждым годом всё больше: близился возраст Христа, но я всё еще блуждала в тумане и не знала своего истинного призвания...

## У КРУТОБОКОГО РОЯЛЯ

В начале восьмидесятых Курдаков покорила алма-атинские вершины, причем довольно легко, почти играючи, в переписке с Надеждой Черновой целые страницы отводились разговорам о Евгении Васильевиче, словно он приходился нам кровным родственником. Собратом по перу и язвительным наставником Курдаков, в силу своего призвания, стал для многих литераторов нашего города уже давно, а после нескольких вояжей в столицу толпы его почитателей умножились. Никогда не была в числе его приближенных, существовала в параллельной реальности, но уже в семидесятых поразила сила его дарования, это были стихи из будущего сборника «Сад корней».

Татьяна Кондрашина (Сидихменова) показала разрозненные напечатанные на машинке листы с непривычными для восприятия длинными строками и долгими размерами, они поражали читателя своей раздумчивой неспешностью, особенный зрелый талант и несомненное мастерство проступали в каждом слове. Ощущение необычайного высокогорного воздуха этой поэзии приходило раньше осмысления значимости стихов Евгения Курдакова, Татьяне они казались холодными и рассудочными, мне порой не хватало в его стихах в ту пору теплоты и открытости, но филигранное мастерство и некая загадка, тайнопись его стихотворений притягивали необычайно. Если многие наши товарищи по бесчисленным студиям писали вослед, вдогонку именитым поэтам от Есенина до Евтушенко и порой откровенно им подражали, Евгений Курдаков создавал свой оригинальный поэтический мир.

Уже в ту пору вокруг него водили хорорывы музы местного значения, на которых, впрочем, он мало реагировал, но приближенные «пажи», «оруженосцы»

сопровождали мастера повсюду, без свиты Курдакова ни разу не встречала. Однажды, совершенно неожиданно, оказалась на открытии его домашней мастерской, куда меня притащила чуть ли не силой Светлана Салычева, она обожала всех со всеми знакомить – и все литературные, музыкальные встречи и даже тусовки художников благодаря ее недремлющему энтузиазму так перемешивались друг с другом, что бывшие заклятые неприятели уже обнимались нежно и делились творческими тайнами. Открытие мастерской символизировало начало новой удачной полосы в жизни всего семейства Курдаковых.

В новой квартире по Виноградова у дочек Курдакова появилась своя комната с отдельным входом, в самой маленькой разместили мастерскую, в нее мы со Светкой, в сопровождении хозяина, заглянули: запомнился небольшой стол у окна, вдоль стен стеллажи с книгами и с готовыми изделиями из корней, их было так много, что глаза разбегались. Птицы, лешаки, кикиморы и прочие лесные обитатели весело поглядывали на гостей из всех углов. В комнате уже пахло морилкой и лаком и, как подголосок, добавлялся к симфонии аромата теплый древесный запах.

Тут нашу экскурсию прервала хозяйка, Екатерина Федоровна, она увлекла нас в зал, где уже к накрытому столу несли главное блюдо – знаменитый пирог с капустой и солеными грибами. Гости собралось много, и каждому досталось по небольшому кусочку, такого восхитительного пирога мне не доводилось больше пробовать.

Я чувствовала себя немного неловко, поскольку кроме нас двоих литературную часть представлял только ученик и вечный почитатель Жениного таланта Валентин Балмочных, который вполне соответствовал своей фамилии и баламутил компанию подвыпивших гостей.

– Ребята, давайте поиграем в буриме, – приставал он ко всем и называл при этом пары оригинальных рифм.

Народ услышал и подхватил его идею, вскоре все собравшиеся: знакомые телевизионщики, художники, мастера резчики, актеры, музыканты сочиняли смешные экспромты и покатывались от хохота. Запомнилась атмосфера счастливой творческой семьи, в которой хорошо и хозяевам, и гостям. Спустя полвека я написала стихотворение об этом доме и о его хозяине.

Жил поэт по Виноградова,  
замечательный поэт.  
Забегать к нему мы рады бы,  
только света в окнах нет.

Время выкрутило лампочки  
в том подъезде навсегда.  
Провожал поэт нас в тапочках,  
расставаясь на года...

Позади пролет ступеней,  
впереди судьбы ответ.  
В прошлом остаются тени,  
позади нас больше нет.

Жил поэт по Виноградова,  
там, где молодость жила,  
там, где радостная радуга  
выгибала два крыла.

В другой раз я встретила Курдакова у Светланы Сальчевой в новой четырехкомнатной квартире. Кажется, собрались мы еще и по случаю дня рождения Светланы. Она, как обычно, была хороша, не прибегая ни к каким дамским хитростям: ее карие яркие глаза сияли, лицо с четко прорисованными изящными чертами излучало неуемную энергию, легкая, почти девичья фигурка, облаченная на этот раз в яркий и остро модный наряд, порхала со скоростью электровеника по квартире.

Во время застолья мы не столько пили, сколько пели, дурачились, играли в литературные игры, рисовали друг на друга шаржи, меня очень смешно изобразила художница и поэтесса, воспевающая кентавров, Таня Рапопорт, снабдившая рисунок надписью: «Треугольные глаза, на макушке – кок, ты немного егоза. В остальном ты – Бог». Круглое лицо с крупным носом и треугольные глазки напоминали о японских красотах с гравюр Утамаро, что, конечно же, мне польстило (обожала японское искусство гравюры), но концовка эпиграммы царапала слух явным перебором. На мои претензии хмельная Таня ответила, что так чувствует и попыталась чмокнуть в щеку.

В результате наших состязаний каждый гость получил приз за участие в них – пластинки с голосами обожаемых поэтов, а мне еще достался широкий вишневый браслет, который шел к моему крылатому креповому платью. Даже угрюмый муж Светланы, ответственный обкомовский работник, в этот вечер сменил гнев на милость и спел под гитару пару песен. Под конец встречи мы перешли в комнату, где рояль занимал почти всё пространство. Светлана села на крутящийся стульчик, тронула клавиши – только что оравшие и плясавшие поэты и художники угомонились, окружили рояль и заслушались.

Я тут же в уголке нашла клочок бумаги и настрочила экспромт:

У крутобокого рояля  
Притихли шумные поэты:  
Царит мелодия Шопена,  
Порывисто играет Света.

Так глядят волосы мужчины  
Неистово и иступлено.  
Так порываются навстречу,  
Так обнимает ветер клены,

Так мучают самих себя  
За прошлые грехи и страсти.  
Есть только музыка и мы  
В ее непобедимой власти.

Есть только музыка и свет  
Свечи, сникающей всё ниже.

Есть дом,  
Есть ливень за окном,  
Друг другу мы сегодня ближе.

Светлана великолепно импровизировала, порой сочиняла музыку к своим же стихам. Но в тот раз звучали классические, трогательно-печальные мелодии, горела свеча, а за окном лил дождь, казалось, сердца наши бились в такт порывистым волнам музыки.

Замолк рояль, и дождь за окном, немного пошелестев на прощанье, притих, и мы стали разбредаться по домам. В прощальные мне достался, не помню уж по какой причине, Женя Курдаков вместе с его верным «пажом» Юрой Фоменко.

Ночной город, умытый недавним дождем, высоченные вековые деревья, которые в ту пору превращали серединную, пешеходную часть широкой улицы Льва Толстого в почти лесную тропу, таинственную и живописную, настраивали на лирический лад. Вот тогда, около огромного тополя, который любил известный в городе резчик по дереву Ядрышников, мы и поговорили с Женей впервые откровенно. Он заметил тоску в моем взгляде и прозорливо заметил:

– Ты думаешь о том, что дала бы фору всем нашим литературным барышням, заткнула бы их за пояс, если бы не ходила с тростью и не хромала.

Удивительно, но он как в воду глядел, моя личная жизнь не ладилась, предмет моих вздохов смотрел весь вечер на глупенькую, но хорошенькую и фигуристую дамочку, а я, уязвленная своим несовершенством, и не пыталась отбить юношу.

Меня немного резанула такая лобовая правдивость, но Женя, словно прочитав эти немудреные эмоции на моем лице, добавил:

– Не думал обидеть, просто заметил твои переживания и захотел ляпнуть, что понимаю и сочувствую, ведь я встречал много людей со сложными судьбами... Давай о другом. Твои стихи мне показались интересными, если хочешь, принеси стихотворений двадцать, посмотрю, как старший товарищ, подскажу.

Юра Фоменко шел рядом, но в наш разговор не вмешивался, и я временами забывала о его присутствии, однако, как оказалось, он всё слышал. Он в то время работал в газете «Алтайский строитель» и, когда мы уже почти добрались до моего дома, предложил опубликовать те стихи, которые я только что читала на ходу.

Люблю вспоминать эту прогулку по ночному городу. Закрою глаза – и вот опять сквозь влажную летнюю ночь мы идем втроем по проезжей части, машины еще не ходят. Мы смеемся: я ради шутки надела на Женю соломенную шляпку-таблетку с бантиком сзади. Предутренний ветерок овеивает прохладой, крылышки моего платья трепещут. С этого момента мы не могли превратиться в друзей, слишком разные и обоюдоострые, независимые люди редко могут общаться накоротке, но на всю жизнь сохранилось чувство особого родства, даже в некоторой степени созвучия, по крайней мере, так случилось со мной.

В то время мы уже часто виделись в библиотеке, где я работала, куда стихийно притекали званые и незваные пишущие собратья поболтать о литературных новостях, обсудить, а чаще просто послушать свежее испеченные стихи друзей по перу. Стихи для критики передала Жене на одной из встреч и, когда и думать забыла, он на бегу вручил мне «письмо» – два листочка с анализом моих виршей. Странно, что не сказал прямо в глаза, как это у нас принято, но потом поняла, что, зная о ранимости моей души, он просто иначе не мог поступить.

Жестокость, которую приписывали ему недоброжелатели, всё-таки не была ему свойственна: иногда он мог с прямоотой и наивностью ребенка рубить правду-матку, иногда мог, походя, обидеть, но никогда не совершал беспощадных поступков намеренно. Правда, желчные, резкие замечания помогали ему частенько отбиваться от бездарей, от надоедливых графоманов и чванливых пустозвонов.

Руфь приучила меня терпеливо сносить даже несправедливые замечания, внимательно вслушиваться в едкую критику и вчитываться зорко в безжалостную трепку наемных рецензентов рукописей, поэтому «письмо» Жени не сразило наповал. Читала не с холодным носом, мнение Курдакова всегда ценила особо, с частью замечаний согласилась сразу, какие-то слова вызвали шквал эмоций и даже негодование, но большая часть письма только спустя годы оказалась полезной, ведь в ту давнюю пору я гордилась дневниковой открытостью и наивностью моих «перлов».

Во времена студии «Устье» меня не было в городе. Однако я всегда почитала Курдакова как наставника и одновременно товарища, училась филигранности работы над произведениями, пристально следила за его творчеством и остро ощущала нарастание эпической мощи и силы поэтического таланта Евгения Васильевича. Он слышал космические глубины, заглядывал в минувшие тысячелетия – и там обретал силу борения, вдохновение и крепнущую с каждым годом Веру.

### КУДА ВЕДЕТ «ТРОПА»

Мы с Таней Кондрашиной последовали совету Шустера и сдали рукописи в «Жалын». Одним из рецензентов оказалась наша Руфь, и отклик ее был положительным, рецензия Жовтиса, видного советского критика, более жесткая, требовательная, предполагала серьезную работу над будущими сборниками. Меня редко хвалили, да и сама я вечно выискивала недочеты и неточности в стихотворениях, поэтому решила не возмущаться попусту и принялась за дело, тем более что многие замечания оказались точными и дельными. Татьяна, о гениальности которой в нашем кругу не говорил только ленивый, претензии не приняла и категорично заявила, что ей легче бросить писать, чем следовать за указаниями какого-то критика.

Так разбежались наши параллельно начинавшиеся поэтические тропы. Впрочем, не я сама рвалась на Парнас, а некая неодолимая сила вела меня дальше и не отпускала. Хотя иногда казалось, что могу писать в стол, могу вообразить, что главное в моей судьбе любовь, работа, семья. Но всё кончалось одним и тем же: поэзия подхватывала меня, как сильный мужчина на руки, и переносила через любые преграды.

Жизнь, неизвестно по каким законам, складывается из отдельных эпизодов, ее нельзя превратить в некий роман, где одно вытекает из другого и развивается последовательно и занимательно. Порой судьба преподносит сюрпризы, в которых нет никакой логики и смысла, но чаще скрытый тайный замысел событий приоткрывается нашему разуму изредка и никогда не распахивается до конца. О некоторых эпизодах не стоит упоминать, другие лучше забыть вовсе, хотя иногда можно вскользь коснуться, например, моих почти героических попыток выйти замуж.

Вряд ли кто поверит, что спустя время они смешны, но страсти и слезы давно утихли, остались в памяти казусные нелепые ситуации, которые теперь вызывают ироничную улыбку.

Вот идем мы с одним товарищем по гравию, я прихрамываю и держу кавалера под руку, а он, расслабившись, говорит: «Когда поженимся, я тебя с работы встречать не буду». Заявление, конечно, слух ласкает, и спрашиваю нарочито медовым тоном: «Отчего же, миленький?» А тот со всей прямоотой отвечает: «Ты сильно хромаешь».

Не поймал, а уже общипал. Вот и вся любовь. Дальше всё понятно. Не одна я слепла под влиянием страстей, хорошо, что недолго длилось неведение.

Каждый эпизод можно при желании превратить в полноценный роман, поскольку воображение даже мимолетную симпатию способно обернуть в роковую страсть. Но мало ли кто пролетал мимо нашей судьбы? Можно и кольцо поносить на безымянном пальце – и однажды узнать, что кандидат в супруги человек мелкий и ничтожный, можно и заявление в ЗАГСе оставить – и вдруг прозреть, можно познакомить «кандидата» с родными и друзьями – и вдруг понять: жизнь менять не стоит. Порой только стихи, в лучшем случае, оставались на память о чувствах, сгоревших как бенгальские огни, быстро, но ярко.

Цена любая! Всё, что есть во мне,  
отдам, чтоб обрести простое:  
в твое плечо уткнувшись,  
ехать стоя  
в автобусе, куда глаза глядят.  
Мы в тесноте притиснуты друг к другу.  
Мы третий раз прокатимся по кругу –  
и выйдем там, где не живет никто  
из нас двоих. И будем целоваться...  
Цена любая...  
Не с кем торговаться.

Соврала, если бы сказала, что даже имени не помню, кому адресовано стихотворение. С головой у меня всё в порядке, но на праздник любви часто являются незваные гости, чьи признания оглушают и ослепляют основательно, но которые не стоят добрых слов, поэтому помнится фейерверк чувств, а тот, кто случайно оказался рядом, смутно видится сквозь пелену времени. Теперь бы я прошла мимо и не оглянулась.

Судьба сама решит, не пора или пора. Будущего мужа, Алексея Медведева, я встретила в тот год, когда разбегаться и прыгать в сторону замужества мне надоело. Тут-то меня и зацепило. Поначалу обратила внимание на его почти военную выправку, на уверенный, умный и немного отстраненный взгляд. Его удлиненное лицо напоминало мне любимого актера – Олега Янковского. Когда оказались за праздничным столом друг напротив друга, заметила, как он весело смеется, с удовольствием рассказывает анекдоты. После застолья он поджидал меня на лестничной площадке, где стояла скамья.

– Девушка, вы не уделите мне минуточку? – спросил он охрипшим от волнения и чуть дрогнувшим голосом.



Я удивленно глянула на него – и вот тут что-то случилось, совершенно неожиданно захотелось присесть с ним рядом. Поначалу мне было неловко, но стеснение быстро улетучилось, мы познакомились, и часа полтора кряду говорили о всякой всячине, начиная с книг и кончая политикой, причем мне понравилась ненавязчивая манера беседы Алексея. Интерес, с которым он разглядывал меня в застолье, стал еще заметнее.

Он сидел в черной кожаной куртке, от чего напоминал комиссара гражданской войны. Его зеленые, немного раскосые глаза всё больше разгорались, смущая меня откровенным мужским взглядом. На другой вечер он назначил свидание у кадки с кустом китайской розы. Мы сидели, обнявшись, а мимо время от времени ша-стали бессонные и любопытные обитатели стационара, над чьей бдительностью мы вместе подшучивали.

Отношения развивались бурно: через несколько дней я уже хотела остаться с Алексеем наедине по-настоящему, без свидетелей. Не думала о том, что будет, а чему не суждено случиться. Взаимные чувства, которым мы не искали названия, подхватили и несли судьбе навстречу. Мужчина моей жизни не обладал теми фантастическими качествами, которые я прежде выдумывала и приписывала людям самым немудрящим, но даже его недостатки и дурные привычки, которые он не скрывал, мне нравились и не отвращали от него, а скорее наоборот. Он стал единственно желанным, а все остальные потеряли всяческую привлекательность.

Такого сумасшедшего шквала чувств я никогда после не испытывала. Потом пять дней гостила в Экибастузе, познакомилась с родными Алексея, с его другом и соседями. Однажды глянула из окна – и поняла, что мне нравится этот дом, нравится хозяин и пыльный степной городок. Перед моим отъездом мы решили соединить наши судьбы. В августе Алексей приехал за мной на своей машине и увез в Экибастуз.

Сентябрь добрый должен убедиться,  
что я счастливой быть еще могу.  
Так дерево, согнутое в дугу,  
веселым гамом оглашают птицы.

Как обжигает душу запах дома!  
Колючий ветер пробую на вкус –  
и слово пыльное «Экибастуз»  
меня тревожит болью незнакомой.

Сначала меня пугали солончаковые проплешины и скудная растительность по пути в Экибастуз, потом я полюбила запах степного разнотравья, тальниковые заросли вдоль канала Иртыш – Караганда, сиреневые и лиловые цветы, буйно польхающие весной, даже надоедливый, почти не утихающий ветер подружился со мной.

Любовь, особенно взаимная, сродни стихии и, даже изменяясь по воле времени, в глубине таит огненную силу.

Чтобы рассказать о превратностях экибастузской жизни, пришлось бы много рассуждать, объяснять, отчего спустя четыре года счастливой семейной жизни я вместе с маленьким сыном вернулась в Усть-Каменогорск.

Любовь осталась при мне, но изменилось отношение Алексея, я по-прежнему оставалась для него желанной, но заботы, помощи, поддержки я уже не могла дожидаться, а гулянки и пьянки участились. Еще в начале совместной жизни предупредила: «Будешь пить – уйду», он думал, что бравирую, набиваю себе цену, но повторять мамин путь ненависти я не хотела ни за что на свете и решила уйти раньше, чем угаснет любовь, раньше, чем сын заметит, что родители грызутся друг с другом, как собаки. Мы расстались без скандала без диких выяснений отношений. Но было такое чувство, что мне ампутировали уже не ногу, а половину сердца. Порой кажется, что большая часть меня осталась в Экибастузе.

Рядом с Алексеем я узнала вкус счастья, силу взаимной страсти и нежности, и наконец не придуманная, а настоящая земная, чувственно, предметно ощущаемая жизнь стала для меня родной и понятной. Если прежде почти все мужчины казались мне враждебными, бездушными, то теперь я словно помирилась с ними. Может быть, поэтому мои стихи, особенно о любви, переменились.

Спасибо и прости...  
 Как мы неосторожны:  
 всё вдребезги, на части, на куски.  
 Пою без голоса, томлюсь сердечной дрожью.  
 Мы были так мучительно близки,  
 как два врага в смертельной рукопашной.  
 Возносит к звездам мстительная страсть.  
 Мы так близки, что умереть не страшно,  
 не страшно в бездне времени пропасть.  
 Спасибо и прости...

Отдельный сборник в 80-е так и не вышел, но часть моей рукописи «Тропа» В. Киктенко включил в коллективный сборник «Горизонт» («Жалын», 1986) довольно большой подборкой. Я даже получила гонорар (огромный по тем временам – 160 рублей) и выписала на эти деньги несколько толстых литературных журналов. Следующая рукопись лежала в издательстве, когда родился мой сын Роман, а вскоре изменилась резко жизнь нашей семьи, а следом развалился Союз нерушимый, так же внезапно и просто, как мое замужество. «Тропа», ведущая в издательство, дав круг через Алма-Ату и Экибастуз, вернула меня домой.

## ПОДАРКИ ОТ АХМАТОВОЙ

Книги перестали издавать, но притаившаяся на время четырехлетнего брака поэзия вновь забурлила во мне. Иная музыка хлынула и подхватила меня. Вернулась в Усть-Каменогорск с отбитой душой, правая сторона тела теряла чувствительность, ходить резво, как прежде, не получалось, не могла взять маленького сына на руки, но больше, чем врачи, спасали стихи Ахматовой. Прежде относилась к ее поэзии спокойно, хотя гармоническая природа её таланта мне казалась родственной, но только теперь, после страстей и потрясений, по-настоящему услышала голос ритмической реки под названием Стихи Анны Ахматовой.

В течение двух месяцев неспешно училась слушать симфоническую музыку ее творчества, каждый вечер открывала объемный томик стихотворений – и каждый раз утишалась душевная и физическая боль. Непонятная сила втекала в меня с каждой новой поэтической волной. Внезапно я вошла в поток звуков – и одно за другим потекли стихотворения, полные любви и печали. Ахматова вернула мне голос, и я уже внутренне напевала свои любовные мотивы, а значит, могла жить дальше.

Расставаться так и надо,  
чтоб назад уже: ни-ни!  
Я своей свободе рада.  
ты себя себе верни...  
Знаю-знаю, это просто:  
позабудь, что я была,  
как спасающий наперсток,  
если рядышком – игла!

Шорох любовных слов оказался не главным подарком Ахматовой, спустя какое-то время стихи стали целиком внезапно вырастать в моем сердце, раньше приходили отдельные образы, отдельные строки, которые потом складывались в некий набросок, над которым можно долго мудрить.

Новые стихи, облаченные в летящие одежды, не терпели правки, они рождались живыми, готовыми дышать. Как-то летом вышла на крыльцо дома и остановилась: накрапывал дождь, теплый, слепой, и становился всё тише и тише. Пахнуло влажной волной ветерка – задышала где-то рядом сурепка. Смешанный запах умытых листьев и мокрой земли разбередил душу – и за несколько минут, пока я дожидалась окончания дождя, во мне выросло стихотворение «Дождь уходит».

Дождь уходит, листвою шурша,  
дышит сладко цветущей сурепкой.  
Капли ливня легко ворошат  
запах жизни томительно-крепкий.

Всё недужное смыто дождем.  
Капли шлепают листьям в ладони.  
Много дней краткой свежести ждем –  
и в дожде опрометчиво тонем.

Но изведанный острый озноб,  
струи ливня, ласкавшие кожу,  
были негой томительной, чтоб  
жизнь сказалась сильнее и дороже.

Птицам весело после дождя,  
сердце замерло после блаженства.  
Теплый ливень томит, уходя,  
упоительной ласкою женской.

Искореженная жизнь понемногу приходила в себя. Девчонки заглянули как-то ко мне с тортом, посидели, поглазели на меня новую, ошалевшую от боли, неудобную – и скрылись надолго.

Сходу поддержали меня Галина Петровна Минаева (дала возможность подрабатывать на телестудии) и Лёня Кузнецов (опубликовал в «Рудном Алтае» подборку моих стихотворений). Больше других постарался Шустер (с его подачи я сотрудничала с областной газетой, занималась с начинающими поэтами писала сценарии для мероприятий, а главное, стихи, которые я написала после Экибастуза, первым оценил и опубликовал именно он).

Через какое-то время устроилась на работу в государственный университет, в библиотеку. Часто на ночь я перечитывала стихи Ахматовой, они мне в то время заменяли молитвы. Новые подарки от щедрой Анны были еще впереди.

Однажды, когда я стояла напротив университета в ожидании автобуса, внутри зазвучало стихотворение, причем оно не проговаривалось, а как бы напевалось на странную незнакомую мелодию. Пока не подошел автобус, я успела несколько раз мысленно пропеть только что сочиненное стихотворение. Казалось, что я его не придумала, а просто из некоего пространства приплыл ко мне этот напев.

– Ненаглядный, легкий тополь,  
ты куда один потопал  
без меня?

– Я иду в Константинополь,  
где моя родня.

На прощанье обнимая,  
об одном молю:

– Раскрывая листья в мае,  
обо мне не вспоминая,  
прошурши: «Люблю!..»

Ненаглядный, легкий тополь –  
ветра младший брат –  
веткой по плечу похлопал:  
– Не швыряй посуду об пол,  
я вернусь назад.

Есть нечто загадочное в этом стихотворении. И на все «почему», хоть убейте – не смогу ответить. Но его свободное музыкальное дыхание разбудило сотни мелодий, которые прилетали всякий раз, когда рождались особенные, оформленные еще в пространстве, готовые произведения.

Ахматова мечтала, чтобы ее стихи пели – и мне подарила возможность слышать, как поется новорожденное стихотворение, и я уже мечтала, чтобы мои стихи превращались в песни. Ахматова словно подслушала мысли – и вскоре подарила не одного, а сразу несколько авторов музыки на мои стихи. Я ни о чем никого не просила, все пришли сами – и сочинили и запели каждый на свой лад.

## МОЯ ЛЕНА

Лена Яценко – самая близкая и верная подруга – полжизни прожила с мамой вдвоем. Такой беспредельной дочерней любви я никогда не встречала. Лена берегла ее от стрессов и физических нагрузок, причем все бытовые заботы и трудности лежали на плечах подруги с самой ранней юности, поскольку Любовь Дмитриевна страдала астматическими приступами.

Книги, работа, дом, беспредельная жертвенная любовь к животным заполняли пространство жизни подруги до предела. Ни до, ни после я не знала человека более скрупулезного, педантичного во всем, к чему она прикасалась. При этом с ней никогда не бывало скучно: мы то и дело обменивались анекдотами, а рассказывала она их мастерски, хохотали порой до упаду.

В праздники часто собирались вдвоем: то выпить хорошего вина и отведать очередной кулинарный шедевр в ее исполнении, то погадать по блюдечку, причем и это занятие не обходилось без хохота. Иногда, особенно если дома пахло скандалом, я убегала к подруге на часок-другой поиграть в «Бридж» или в модную в наши институтские годы «Монополию».

У нас в квартире редко бывало тихо и спокойно, и смотреть на наших ненаглядных пьяниц Ленке не очень хотелось, поэтому встречались чаще всего у нее, Новый год и дни рождения стали заветными датами.

Почти вся судьба прошла на глазах друг у друга, в одном дворе, мы читали одни и те же книги, перехватывая их жадно друг у друга, вместе влюбились в «Иронию судьбы» и, разучив, под гитару пели все песни из кинофильма и мечтали о чудесах в своей, уже не очень юной судьбе.

В ту пору Лена мучила себя диетами и похудела килограммов на двадцать. Любовь Дмитриевна сфотографировала дочку, хрупкую, кудрявую и прекрасную, в обнимку с ее чудесным пуделем Карриком, который мог дать фору любой цирковой собаке, умел считать, пел, танцевал, только говорить не мог, а так понимал каждое слово хозяйки.

Подруга купила фотоаппарат и частенько тренировалась на мне, причем на ее фотографиях выглядела потрясающе: черно-белые фото никогда не скрывают отношение фотографа к «модели». А Лена всегда старалась подбодрить меня и частенько говорила теплые сердечные слова, хотя среди всех моих друзей-знакомых отличалась особой сдержанностью чувств, оставалось только догадываться, какие бури порой случались в ее судьбе и как сильно она переживала не только свои потрясения, но и тревоги окружающих. Когда я печалилась в ранней юности, мол, кто ж меня такую хромую и толстую полюбит, Ленка уверенно заявляла:

– Да ты еще раньше нас с Римкой судьбу найдешь. Будет у тебя принц умный и красивый!

Главный юноша ее жизни встретился в клубе собаководства, образованный, обожающий животных, он и собой был хорош, но избалован как единственный ребенок весьма претенциозной мамой. Всё шло уже к свадьбе, Лена светилась от счастья, тетя Люба тайком прикупала байку для пеленок, но герой оказался не очень надежным человеком, и походя предал. Лена не любила об этом вспоминать, сказала только, что порвала с ним раз и навсегда. Все мы – максималистки-идеалистки, крутые мастера ломать свою судьбу, причем бесповоротно.

Вскоре умерла Любовь Дмитриевна, а Лена внезапно и тяжело заболела. Так и осталась Лена к сорока годам совсем одна в двухкомнатной квартире и уже не хотела ничего менять, но на волне страданий подхватила ее музыка и спасла. Правда, стойкая нотка печали таилась во всех ее песнях.

В то время я мало чем могла помочь подруге: лежала пластом и два года кряду не могла ходить, мой травмированный еще в юности позвоночник не выдержал нагрузки. В ту пору мы почти не виделись. Но понемногу я стала подниматься правда, с работы пришлось уволиться и решить, что делать дальше и как зарабатывать на жизнь. С подработкой помогли телевизионные знакомые и, как обычно, первым позвонил Шустер – и уже через неделю я написала несколько заметок для «Рудного Алтая», а еще через пару дней пришли на платную консультацию начинающие стихотворцы. Я вернулась к творчеству и задумала первый самопальный сборник.

Подруга тоже понемногу справилась со своими бедами и напастями. Чтобы ее подбодрить, сделала о Лене передачу на телевидении, сюжет, как обычно, подсократили, и ведущий передачи коснулся лишь малой части ее судьбы, подробно показали коллекцию миниатюрных фигурок собак и лишь слегка упомянули о ее музыкальном творчестве: после болезни Лена стала сочинять прекрасные мелодии. В передаче прозвучало несколько ее песен на стихи Н. Рубцова и В. Брюсова. Музыка меня очаровала, а в академическом исполнении Лены чувствовалось затаенное волнение, и это придавало исполнению особое, хрупкое, почти хрустальное очарование.

Съемки проходили у Лены дома, длились почти два часа. Подруга в любимом синем платье в белый горошек выглядела настоящей статной красавицей, а ярко-голубые глаза сияли, как сапфиры. Ее и без того уютная и аккуратная квартирка, ухоженная, как и любимая собака Дина, в этот день светилась в лучах солнца, и когда закончились съемки, никому не хотелось расходиться. Как обычно, гости не ушли из ее хлебосольного и радушного дома без угощения, в мгновение ока с подноса исчезли корзиночки с кремом. Телевизионщики свернули аппаратуру, и только их и видели!

Вскоре я дала подруге почитать рукопись будущей самопальной книжицы, и она выбрала несколько стихотворений, которые я написала еще в юности, и два из них превратились по велению таланта Лены в песни: «Наплывет – и отхлынет...» и «На маленькой Земле». И та, и другая написаны в романсовом стиле и полны, особенно в мелодии, потаенной печали и даже тоски, хотя, вместе с тем, насквозь пронизаны светом.

Иногда Лена сначала сочиняла музыку, а потом просила написать на заданную тему и уже зазвучавшую мелодию стихи, так возникли две песни: «Мама», написанная в память о маме Лены, и «Женщина играет на баяне», изрядно напоминающая городской шлягер.

Любая из мелодий Лены ложилась на душу мою чисто и светло. Около дома подруги стоит до сих пор покосившаяся лавочка, на которой, прогулявшись по кварталу, мы любили «пожурчать» вечерком. Однажды, присев на нее, я моментально написала стихотворение «Зрелость», которое посвятила Лене:

Доспевает вечерний свет.

И такая в душе истома!

До печали мне дела нет –  
посижу у родного дома.

Разрослась, расцвела судьба,  
споро вызрела виноградом.  
Птицы ягоды теребят,  
так уж водится, так уж надо.

Но какая такая грусть  
в мире сумрачном,  
но не темном?!

Ухожу, но опять вернусь,  
как вечерней зори истома.

### НАША СТАЯ

В годы, когда почти не поднималась с постели, бессонными ночами при-  
страстилась к детективам и дамским романам. Прочитала остросюжетных книг  
великое множество, а после написала статью «Анестезирующее чтение». Увле-  
кательные фабулы книг действительно помогали скоротать ночь и даже слегка  
приглушали ноющую боль, днем приходила медсестра, облегчала мое состояние  
инъекциями, следом прибегала знакомая массажистка, даже парочка экстрасенсов  
порой заглядывала в мой дом. Головная, спинальная и бьющая судорожная боль  
в культе частенько приводили меня в отчаянье, но сынок рос, и надо было как-то  
приспособливаться к такой жизни.

Начала с малого – принялась лежа вышивать крестом аистов среди роз (зна-  
комый с детства сюжет для рукоделия), потом взялась за более тонкую работу:  
вышила несколько салфеток художественной гладью и всё, что сотворила, раз-  
дарила: маме, медсестре и массажистке. Движения немевших рук стали точнее,  
проворнее, да и спазмы в голове мучили уже не беспрерывно.

Подработка разного рода тоже дала первые результаты, правда, вскоре на  
телевидении перестали платить внештатным сотрудникам, пришлось придумы-  
вать что-то новое, позвонила на областное радио, поговорила с журналисткой  
Светланой Владимировной Еремчук и предложила свои услуги в качестве авто-  
ра-ведущей в одной из радиопередач.

В начале девяностых в каждом доме слушали местное радио. Незаметно  
короткие сюжеты переросли в отдельную передачу «Наша стая». Герои эфира  
перезнакомились между собой и подружились, а потом собирались у меня дома  
не только для записи очередной передачи, но и чтобы поговорить о поэзии, по-  
читать стихи, спеть новые песни.

Многие попали в мой дом с благословения Шустера, поэтому ребята приходи-  
ли интересные, творческие. Иногда в мою комнату набивалось человек семь, мы  
много и шумно говорили, перебивая друг друга, пели бардовские песни и всякий  
раз смеялись, когда кто-нибудь в пылу спора произносил очевидную благоглупость.  
Начинание охотно поддержали мои давние товарищи: Юрий Плеслов, Светлана  
Шувалова, немного позднее присоединился поэт и ювелир, страстный любитель  
самоцветов Виктор Рубан, я даже сделала отдельные передачи об их творчестве.

Однажды в дверь постучала Вера Воронова, стройная молодая поэтесса с лувкавыми зелеными глазами одалиски, иногда по просьбе Шустера она записывала мои репортажи и заметки для газеты по телефону, но увиделись впервые. Она прочитала парочку стихотворений о любви, славно исполненных и профессионально написанных, подавая себя с некоторым апломбом, что, впрочем, не мешало ее природному чувственному очарованию.

С ней вместе пришла юная девочка лет пятнадцати, Диана Цыбенко, которая смотрела на Веру как на кумира. Стихи юной Дианы стали настоящим открытием, видимо, поэтический дар оказался врожденным (Саша Романов приходился ей близким родственником). Девочка читала стихи негромким, свободным от лишней аффектации голосом, спокойно произносила удивительные строки, естественные, как дыхание, и певучие, как шелест листвы под струями нежного ветра.

«Я чувствую тепло земли,  
как мамины ладони».

На записи одной из передач познакомились будущие супруги: Борис Аникин, вечно хмурый и трагичный, но пишущий хорошие верлибры талантливый поэт, и Марина Петряева, восторженные стихи которой не выдерживали никакой критики, но сияющие, ясные глаза и солнечная улыбка тотчас растопили сердце Бориса, и к концу записи наблюдающие удостоверились, что случилась мгновенная влюбленность.

Благодаря Марине душа Бориса заметно посветлела, он как бы занял у неё немного солнышка и тепла. Стихи его год от года становились ярче, всё отчетливее проступала в них особая стать. Спустя десять лет о нем можно было говорить как о состоявшемся крепком поэте: появились подборки его стихотворений в сибирских и московских журналах, позднее, почти одновременно со мной, он стал членом Союза писателей России и выпустил несколько поэтических книг.

Но это случилось потом-потом, а пока, ранней весной в середине девяностых, после записи очередной передачи радиоклуба, мы никак не могли разойтись, подхваченные волной откровенности и редко возникающего поэтического родства, расположились кто где: на стульях, на кровати, Марина присела прямо на ковровую дорожку.

Мы читали друг другу стихи, сочиняли эпиграммы и тут же рисовали шаржи. Озорничали, хотя самым старшим, мне и Светлане Бирюковой, замечательному фотографу, перевалило хорошо за сорок.

Встреча, пронизанная поэзией и наплывающим кратковременным мартовским теплом, заразила Светлану азартом, и она то и дело щелкала фотоаппаратом. Получились очень выразительные снимки. На одном – прелестная юная Диана, которая в свои пятнадцать проявляла чудеса талантливого стихосложения: от ее строк, особенно когда она их читала серьезным ровным негромким голосом, невозможно оторваться, как от горсти родниковой чистой воды. На другом мой сын Ромушка стоит по стойке смирно в яркой вишневой рубашке с настоящей «бабочкой» у ворота и смотрит в объектив испуганно и растерянно, рядом пляшет на задних лапах домашняя любимица, белоснежная маленькая собачонка Ласка. Рома на минутку скромно заглянул в комнату, тут его и запечатлела Света, следом влетела оглашенная Ласка и всех облаяла. Это было так похоже на творческий



«бедлам, тарарам» Курдакова, с чудачками и чудачками, запечатленный в одном из известных его стихотворений, что, кажется, с тех пор мы и выходили в эфир под названием радиоклуб «Наша стая».

## «ЛИТЕРА»

Однажды Вера Воронова пришла ко мне вдвоем с Евгением Зининым, давним руководителем клуба самодеятельных авторов «Зеленая карета», после недолгих обсуждений договорились о том, что вместе возьмемся за создание нового творческого союза при областном Музее искусств. В объединение вошли не только поэты, прозаики, барды, но и самодеятельные художники, которые выставлялись в музее и приходили и раньше в него как к себе домой.

В зале, где мы встречались, стояло несколько рядов неудобных, как в старых кинотеатрах, кресел с откидными сидениями, но стены, увешанные картинами местных художников, помогали создавать творческую атмосферу. Иногда случались и персональные выставки Шупляка, Аштемы, Агейкина и др.

От одних полотен веяло мрачноватой силой, свойственной работам Микеланджело, другие поражали живым дыханием прекрасной многоцветной и многоголосой жизни, третьи, воздушные и прозрачные, как поэтические аллюзии, своей трепетностью напоминали работы постимпрессионистов. Порой я стремилась не столько на встречу с нашей тусовкой, сколько жаждала новых впечатлений от разнообразных полотен, которые выставлялись в зале.

Конечно, радиоклубовцы стали постоянными гостями в «Литере», – так мы назвали новое единение, – встречи проходили в музее среди картин, на втором этаже, а участники творческого союза непременно приходили на запись литературных передач. Руководила союзом по умолчанию Вера Воронова. Я, как обычно, в начальники не стремилась, просто, насколько это было возможно, подогривала у ребят интерес к новым публикациям, к изданиям наших уральских друзей-поэтов из Екатеринбурга.

Мое рвение усиливала досада на моих товарищей по перу, которые почти не читали произведения друг друга, не ориентировались в казахстанской поэзии и практически не интересовались творческими поисками поэтов России.

Глубоко убеждена, что интерес, увлечение творчеством поэтов самых разных не ведет к подражательству, наоборот, родные по духу, близкие по внутренней музыке поэты вольно-невольно будят, тормозят, задевают за тайные струны. Вот я и старалась показать друзьям новые поэтические сборники, яркие публикации в журналах. Невозможно внезапно превратиться в хорошего поэта, если нет интереса к поэзии дальних и ближних современников.

Параллельно с «Литерой» существовала общественная организация «Мост культуры», руководителем которой был Леонид Иванович Сериков, седовласый, энергичный, вечно куда-то спешащий любимец двух муз: геологии и литературы, участник Рериховского общества. Он ездил по разным регионам бывшего Союза, вел обширную переписку и контактировал со многими видными учеными и творческими людьми СНГ.

Он привозил отовсюду книги интересных поэтов, и мы через него отправляли свои «перлы» в Россию, а поскольку я стала помощницей Л. И., все литературные материалы проходили через мои руки. В одном из приложений к екатеринбург-

ской газете столкнулись с чудесными стихами известного поэта Юрия Конецкого, строки мгновенно врезались в память:

«Судьба обламывает нас,  
но убеждает каждый раз:  
тому труднее, кто с талантом.  
Алмаз гранится об алмаз,  
пока не станет бриллиантом».

Посвятил он эти стихи жене, поэтессе Любови Ладейщиковой, книги которой прилетели к нам немного позднее, и я с радостью познакомила участников «Литеры» с ее творчеством, многие ребята полюбили стихи Ладейщиковой. По крайней мере, ее поэзия не заражала сознание молодых авторов приблизительностью, не допускала случайных слов и примитивной инструментовки строк. Поэты-эстрадники хорошенько оглушили взволнованных студентов шестидесятых, оглушили так, что кроме них лет двадцать другие поэты, порой с более крепкими и глубокими голосами, словно и вовсе не существовали. Критики бурно расхваливали социально актуальные стихи-лозунги и т. п.

«Стихи читает чуть не вся Россия  
и чуть не пол-России пишет их», –

провозглашал пестрый и бойкий, как тетерев, Е. Евтушенко, забывая о том, что далеко не всё, что пишется рифмованным способом, хоть немного напоминает поэзию. Оказалось, не в числе дело, не в столичной закваске, не в ораторских способностях авторов. А мода на поэзию и массовое хождение по издательствам и редакциям одержимых писательством граждан так одно время одолела страну, что ряды графоманов разрослись и окрепли до гигантских размеров. Своим напором ушибленные словом граждане сметали на пути все преграды, и поэтами почитали себя все, кому не лень строчить рифмованные исповеди.

Резвое и грузное время кукурузное  
приняли поэты за свободу слов.  
Заблужденье общее, всесоюзное  
юных и доверчивых говорунов.

Эти строки я написала недавно, но отношение к поэзии «эстрадников» из почти восторженного давно превратилось в иное, сложное, противоречивое, далеко не однозначное, особенно когда с подачи Шустера я познакомилась с поэзией Олега Чухонцева и неожиданно, без чьей-либо подсказки открыла стихи Николая Рубцова, его стихотворение о гибели Дмитрия Кедрина, прочитанное в одном из журналов, запомнилось само собой, без заучивания.

«О! Как зловеще в этот вечер  
Взметнулись тайные ножи!  
И после этой краткой встречи  
Не стало кедринской души.

Но, говорят, что и во мраке  
Он всё вставал над лебедой:  
Его убийцы жили в страхе,  
Как будто он и впрямь живой.

Как будто он во сне являлся  
И так спокойно, как никто,  
Смотрел на них и удивлялся,  
Как перед смертью: “А за что?!”»

Во мне неистребимо постоянное желание говорить о настоящей поэзии, крепкой, сильной, пронзительной, которая не позволяет писать слабо, небрежно, кое-как. Знакомство с такой литературой озаряет душу и лучше любых критических опусов излечивает от малейших признаков графомании.

На занятия «Литеры» меня привозили обычно Маркушины – отец и дочь. Елена Маркушина, преподаватель математики в университете, удивила всех на первой же встрече, и не только оригинальными стихами, но и внешним обликом: шапка, нахлобученная до бровей, бледное лицо, не тронутое косметикой, большие тревожные глаза странного, неуловимого цвета, шарф, замотанный так, что прикрывал подбородок полностью, огромный, не по размеру, толстый бурый свитер, темная юбка почти в пол, из-под которой виднелись великанские пимы.

В таком виде Елена являлась не только в мороз, казалось, она живет в этом наряде постоянно. Однажды она решила, что клуб называется «Наша стая» по ассоциации с волчьей стаей Киплинга, мое пояснение она без раздумий просто не приняла, и строки Курдакова о семейной стае, которая стала действительно прообразом клуба, ее не убедили.

Жизнь однажды навсегда напугала Елену, и она заключила добровольно и душу, и тело в некий кокон, только там ей было уютно и спокойно. Самые невинные вольности казались ей грязью и развратом. Прочитав стихи Дианы о возвращении девчонки со свидания, она гневно сверкнула глазами и почти прокричала:

– Да ее убить мало! Шляется где попало!

Никаких полутонов ее душа не принимала. В стихах ее не было ни одной банальной строки, мир вокруг виделся словно через волшебное стекло.

«Сочинять облака,  
без конца сочинять облака:  
может, это река,  
может, это рука...»

Читала стихи она, ни на кого не глядя, тихим голосом, как молитву, никогда не оставалась на чаепитие, она словно добровольно приняла некий вид духовного пострига... Исчезла она из литературного круга так же неожиданно, как и появилась, возможно, ее ранила нелепая ситуация со статьей в газете. В очередной раз я написала о работе «Моста культуры», поведала о том, что Леонид Иванович Сериков побывал на литературном вечере у друзей в Екатеринбурге и рассказал уральцам о наших ребятах и прочитал стихи студийцев, в том числе и Елены Маркушиной, цитировалось стихотворение Елены.

Дежурный по номеру вырезал пару предложений – и получилось, что строки сменили авторство: один взмах торопливой руки – и я, и Сериков оказались в глупом неловком положении. Позвонила в редакцию, но Воронова ответила, что в таких случаях газета не станет приносить извинения. Попыталась уладить ситуацию через Серикова, который жил на Опытном поле, неподалеку от Лены, но при встрече Маркушины делали вид, что с Леонидом Ивановичем незнакомы.

Понемногу Вера утратила интерес к «Литере», потом поссорилась с Женей Зининым на почве раздела власти, эта грызня казалась смешной, и вскоре я перестала появляться в Музее искусств, а немного погодя решила выпустить самопальный сборник «Крылья», как результат почти пятилетней работы радиоклуба. Стихи Е. Маркушиной, Е. Крошкиной, Д. Цыбенко и В. Кузьминой заметно украсили тоненькую книжицу.

Елена Крошкина – автор оригинальных рассказов и стихотворений – понемногу отойдет от нашего круга и займется профессиональным дизайном. Позднее Диана исчезнет из круга поэтов и, по слухам, выйдет замуж и бросит писать. Долгое и сложное лечение приведет ее к бахаистам, а потом след юного дарования растворится в реке времени. Кузьмина, пережив несколько трагических событий, выпустит спустя много лет первый поэтический сборник.

Принять поэтический дар дано немногим, но даже отдельные трепетные стихи или строки не пропадают в пучине забвения навсегда и вопреки воле автора остаются и тревожат сердца.

Чтобы хоть как-то реализовать творческие надежды, мы придумали во времена «Литеры» выпускать складные книжечки-проспекты и за копейки продавали друг другу. А еще наших молодых авторов узнали в столице: в «Простор» мы послали свои крохотные (10-15 стихотворений) книжицы, и они сложились в неплохую подборку, а редакционный совет одобрил первую пробу пера талантливых ребят. Недавно, к девятидесятилетию литературного объединения, вышли две поэтические книги, в которые вошли и подборки молодых дарований времен радиоклуба.

Мой первый самопальный сборник «Взлетели птицы» набрал на компьютере Женя Зинин. Кое-как, работая ножницами и шилом, соорудила несколько экземпляров. Смешно вспомнить, как вместе с Ромой скрепляла и ровняла страницы. Как ни странно, книжке сопутствовала удача, подборку из нее опубликовал «Простор», Надежда Чернова тепло отозвалась о стихах, Руфь от души порадовалась за меня. Книжечки разлетелись, как горячие пирожки, даже выручила за них небольшие деньги, за которые мне набрали и размножили в секретариате одного из ближних предприятий новый сборник «Солончаковая земля».

## КАМНЕПАД

Стихи о безумной любви следовали за мной, как плохие шпионы, «Солончаковая земля» окликала во сне, но душа полнилась другими жизненными волнами. Одна из них принесла самоцветы и ювелира, который преобразил мое представление о мире камней.

С Виктором Рубаном познакомила энергичная и вездесущая Светлана Салычева. С ее легкой руки мы стали перезваниваться: Виктор в ту пору работал сто-

рожем или вахтером (не помню точно) на одном из предприятий города (дежурил по ночам) и мог часами беседовать по телефону.

Учув, что я стихийно, от рождения, влюблена в царство камней, увлек не на шутку рассказами о волшебных свойствах самоцветов: в каждом телефонном разговоре непременно отводил время для легенд о драгоценностях, читал свои талантливые и образные стихи, где частенько вспыхивали сердолики и сапфиры.

Вскоре Виктор пришел ко мне в гости, и не с пустыми руками: он протянул мне хорошо отшлифованный малахит. С той поры подобные дары от «камнепада» (так называют человека, запавшего на красоту полудрагоценных и поделочных камней) стали традицией, и за годы нашего общения накопилась целая коллекция самоцветов. А сколько книг о драгоценных и поделочных камнях я прочитала взахлеб в ту пору!

Спустя пару месяцев легко отличала лазурит от азурита. Коробки из-под конфет наполнились небольшими сколками разного цвета, всюду стояли друзы с красивыми кристаллами и крупные отшлифованные камни: на столах, на шкафах, на подоконниках. Друзьям казалось, что я настолько увлеклась украшениями и самоцветами, что слегка помешалась на тайнах каменного царства.

Не скрою, со стороны эта страсть выглядела смешно, поскольку я привечала не только особенные образцы, моя комната вскоре превратилась не в женскую горницу, а в отделение своего рода музея: на тумбочках, на полках, на полу, даже на балконе – всюду разместились крупные образцы розоватого кварца, письменного гранита, флюорита.

Чего только не было в этом каменном развале! Попадались даже окаменелости, крупные кристаллы берилла и камни благородного переливца. Смейтесь, смейтесь! Но до сей поры прикосновение к голтованым бусинам вызывает чувство, знакомое скупому рыцарю. «Мое!» – вопит некто в подсознании, но я борюсь с жадиной и потихоньку раздариваю самоцветы приятелям и внукам. Пусть текут каменные ручейки по всему городу!

Однажды Виктор принес колечко, украшенное сердоликом и изящной мельхиоровой сканью, и попросил продать его. Цену назначил очень умеренную, посулил десять процентов от продажи – и я рискнула, хотя торговать не умела, точнее, легче было корову научить летать, чем меня приспособить к делу купли-продажи.

Колечко купил в тот же день мой знакомый, и с той поры Виктор либо приносил готовые изделия, либо просил найти заказчиков на серебряные и мельхиоровые изделия среди моих многочисленных литературных товарищей и приятелей разного рода. Я так увлеклась украшениями из самоцветов, что начала изобретать новые авторские модели, которые по моим рисункам воплощал в готовые изделия Виктор. До сих пор хранится брошь с чароитом, сделанная по моему проекту и подаренная Рубаном в пору нашего сотрудничества.

Спустя три года по пустяковому поводу мы повздорили, и потом встречались только на литературном объединении. В эпоху «Литеры» вышел мой поэтический сборник «Камнепад», который, невзирая на то, что он оказался самопальным, с энтузиазмом приняли в «Просторе». Виктор щедро посвятил меня в сказочное царство камней, а я поделилась своим увлечением с читателями и друзьями.

Гороскопы глупые врут,  
что мой камень не изумруд,

что не любит меня хризопраз  
цвета зеленью ранящих глаз.

Шелковистым отливом манит  
камень шпатовый амазонит.  
Как ужонок, к ладони приник  
камень мудрости – змеевик.

А нефрит, как Иртыш под луной,  
сонно дышит тяжелой волной.  
Среди алых мучительных марев  
камни зелень живучую дарят.

Критику по поводу своего поэтического творчества на наших собраниях Виктор не переносил и тотчас начинал орать о своей гениальности, потом переходил на политику, камня на камне не оставляя от тех, кто рулил тогда государством, потом возвращался к нашим литературным делам и разносил всех и вся в пух и прах.

Самые жестокие баталии у него возникали с Валею Балмочных, оба тряслись от ярости, доказывая свою позицию, кричали как резаные. Удивительно, но оба обладали особой нежностью и чуткостью, особенно к детям, старикам и обиженным людям, но это драгоценное свойство души выдавало большей частью лишь их литературное творчество.

Одно из лучших стихотворений Виктора Рубана «Владимиру Высоцкому» написано как бы от лица старенькой мамы Виктора, и веет от него такой болью и теплом, что слезы наворачиваются у самых жестокосердных. А вся поэтическая рукопись «Людская россыпь» Валентина Балмочных – это трогательное, искреннее, правдивое признание в любви к воинам, труженикам, страдальцам нашей родины.

## СОЗВУЧИЯ

Время камнепада тяжелой лавиной прокатилось по судьбам многих моих друзей. Валу Савченко оно застало уже в Усть-Каменогорске, когда она уехала из родного Ленгерена в Казахстан, жаркий климат, вредивший ее здоровью, вытолкнул ее за пределы Узбекистана, и она поселилась на Аблакетке, устроилась уборщицей на Усть-Каменогорскую ГЭС. Тогда и пробудилось в полную силу ее песенное творчество. Она познакомилась с моим тощим и куцым по оформлению сборником «Взлетели птицы» – и вскоре написала пару песен на стихи из этой книжицы.

Песни оказались очень близки моему видению мира, его музыкальным вибрациям, и стихийно наступил многолетний период творческого сотрудничества. Обе мы, дамы круглолицые, сдобные, с карими, смеющимися восточными глазами, оказались не только душевно созвучными, но даже внешне похожими, и многим малознакомым людям казались родными сестрами.

Валентина так вошла в раж, что пару лет писала песни только на мои стихи. Мы вместе проводили концерты в школах, библиотеках, училищах: я составляла программу выступления, вела концерт, читала стихи, а Валентина пела и подыгрывала себе на гитаре, иногда аккомпанировал брат Вали, замечательный гитарист Эдуард Дадамьянц.

Вале удавалось то, что потом не доступно было другим авторам музыки к моим произведениям. Ее мелодии и исполнение отличались особой теплотой и проникновенностью. Порой пение настолько усиливало изначальный, не заметный неискушенному слушателю трепет, что вдруг самые обычные, простые, но душевно чуткие люди излечивались от фатальной глухоты и воспринимали не только пение Валентины, но и чтение стихов гораздо тоньше – и уходили с концертов взволнованными, наполненными до краев гармонией слов и мелодий. Глаза немногочисленной нашей паствы сияли.

И неважно, что перед нами не зал в тысячу мест, а скромная комната библиотеки. Мы передавали щедро волны тепла и любви, и они возвращались, усиленные сердцами наших слушателей. Новые песни Валя непременно исполняла мне первой или приносила записанные на пленку магнитофона, и мы с удивлением обнаруживали, как под Валины мелодии заливался многоголосый птичий хор Аблакетки, а в то время, когда мы слушали музыку...

Сердце тенькало от счастья  
малой пеночкой в листе...  
Стайки облаков клочкастых  
растворились в синеве.

Радостное солнце чертило радужные блики на стенах, а иногда на закате вся стена окрашивалась палево-розовым цветом. Обычная игра света, но нас распирало от радости, – и мы до упаду смеялись по любому пустяковому поводу, а потом снова пели, спорили, а иногда я немного шлифовала тексты Валиных песен, которые сочиняла она сама. Валя смеялась над своими неловкими фразами, а я старалась ее подбодрить, поскольку, при всем косноязычии, стихи она писала полные музыкального трепета и искреннего чувства.

Ни с кем из моих музыкальных соавторов мне не работалось так весело и азартно. Созвучие наших душ в ту пору казалось почти мистическим.

Ты созвучий моих не заучивай.  
Может, вовсе не надо уметь  
колокольное слово вымучивать  
и простуженным голосом петь.

Чтобы сквозь хрипоту неминуемую,  
сквозь дыханья изорванный свист,  
вынуть ноту такую певучую,  
чтобы дрогнул линованный лист.

И слова проливаются странные,  
и, не чувствуя душную плоть,  
в небесах очарованных странствую.  
Голос ветру навстречу плывет.

Мы были еще довольно молоды и хороши собой. Однажды после нашей «репетиции» заглянул в гости Игорь Утешев и запечатлел нас вместе и поврозь в на-

рядных платьях и с гитарой. Главное украшение, которое превратило нас почти в красоток – счастливое настроение: впереди выступление на творческом вечере, до выхода первой настоящей, издательской книги «Сокровенное солнце» несколько месяцев, а за плечами пара лет совместного творчества и не меньше пятидесяти песен, которые написала Валя на мои стихи.

Нам предстоят еще съемки на телевидении, не за горами юбилейный вечер Валентины, когда она своим бархатным голосом исполнит песни на стихи алма-атинских, уральских, московских и местных поэтов, я буду вести этот вечер и радоваться за Валюшу: так прекрасно обогатят ее песенное творчество разнообразные ритмы не похожих друг на друга авторов.

Чаще всего мы выступали по разным поводам в Центральной городской библиотеке на набережной Иртыша. Там нас поили чаем и встречали с неизменной теплотой и радушием.

### «ФЕНИКС»

Однажды после вечера, посвященного очередной пушкинской дате, мои литературные собратья заговорили о реанимации литературной жизни и решили на базе библиотеки на набережной возродить литературное объединение. Руководство сообществом почти автоматически возложили на меня с легкой руки Бориса Васильевича Щербакова. Прежде свои задумки раздавала направо и налево, но в этот раз мне еще и отвечать предстояло за изобретенное и содеянное.

Сначала я изменила древнюю политику творческих объединений устраивать прилюдные разборы стихов, написанных молодыми авторами. Эти «судилища» по недоброй и порочной традиции перерастали в жестокое действие, подобное линчеванию, его даже маститые товарищи переносили с трудом. Не видела и не вижу смысла в принародной словесной порке: графоман обозлится, ничего не поймет и примется устраивать всем участникам «порки» гадости, а талантливый новичок, раненный в самое сердце, сбегит подальше от места, где так резко и не всегда справедливо дробят косточки его пусть неумелому, но любимому детищу.

Теперь стихи новичков отдавали участникам объединения с опытом творческой работы: Юрию Плеслову, Светлане Шуваловой, Александру Егорову и др., и они беседовали с глазу на глаз с автором, судили бескомпромиссно, порой резко, но в результате появлялись стихи и рассказы, уже не только намекающие на талант автора, но и вполне выверенные по всем правилам словесного искусства. Чтобы авторы, особенно молодые, могли ярче проявить себя, мы придумали концерты-отчеты, которые сближали самостоятельных композиторов и поэтов, несколько месяцев произвольно намеченные пары готовились к выступлению перед членами объединения и гостями библиотеки – и нередко случались открытия. Застенчивый бард Игорь Утешев выступал вместе с юной кареглазой, несколько даже суровой на вид поэтессой, – всё в ней, даже внешне, рельефно, крупно, отчетливо. Валерия Иванова, чья необычайно зрелая лирика полна непривычного для ее возраста любовного лепета, а сильной и вольной уверенности в корневой крепкой сути родного языка, полнобилась читателям.

Не скрою, что не сразу разглядела особый талант Валерии Ивановой, сначала ее стихи показались слишком прямолинейными и декларативными, с постоянным оглядыванием на время минувшее. Благодаря концертам, когда я не только



увидела распечатанные стихи, но и услышала особые горячие, задевающие за сердце интонации, поняла, что молодая поэтесса идет трудным путем сохранения классической русской традиции, новизна и сила ее лирики как раз и состоит не в разрушении прежних форм и образов, а в создании особого мира своей поэзии на основе классической ясности, простоты и чистоты традиционно русского стихосложения.

Она как бы выметает начисто из пределов своей поэзии все нервно-корявые замудрения и эксперименты, свойственные стихотворцам начала двадцатого века, убирает лозунги и словесную эквилибристику, коей грешили «эстрадники». Ее природное свойство своим суровым, отчетливым, немного резковатым голосом петь о родном крае, о близких людях, о трагических переменах вокруг с ясностью, свойственной А. С. Пушкину, с глубинным состраданием к народу, присущим Некрасову, с неизбежной любовью к каждой травинке, к каждому живому мгновению, что пристало поэзии Н. Рубцова. Еще временами в стихах Валерии Ивановой проносятся бурные, искрящиеся энергией степные ритмы Павла Васильева.

Оханье и аханье в объединении вызвало появление Ларисы Мартыновой. Миниатюрная, как девочка-подросток, темноглазая и темноволосая женщина лет сорока читала стихи несколько отстраненно, подчеркивая голосом, уходящим в монотонность, удачные образы и логические переходы от одной строфы к другой, всей сухонькой фигуркой утверждая значимость поэтических опытов. Ее стихи можно назвать оригинальными: неожиданные сравнения, образы, поражающие воображение – всё привлекало внимание слушателей. Формально – явный модерн, некая смесь конструктивизма и символизма.

Поначалу рассуждения автора о вторичности чувства в произведении, довольно прохладные поиски новых изобразительных средств казались просто любопытными, не больше, но сама судьба, с ее неизбежными переменами и страданиями, наполняла ее строки жаркими эмоциями и рельефными, по-прежнему особенными образами.

Есть пишущие собратья, первая проба пера которых хороша лишь порывистым строем неумелых строк; эмоции зашкаливают, и всю ткань сотворенного пронизывает свет. Пишут, как дышат, не совершенствуясь, не заморачиваясь. Всё бы ничего, но в этом случае возникают не произведения искусства, а рифмованные дневниковые зарисовки.

Лариса по своему способу виденья мира очень близка к интересной поэтессе, возникшей на литературном горизонте еще во времена радиоклуба и «Литеры», Валентине Кузьминой, которой реализовать в полную силу свой талант мешает отсутствие редакторского чутья, строгого, взыскательного отношения к написанному, оттого гениальные строки частенько соседствуют с невнятным бормотанием. Мартынова, напротив, умеет признавать поражения и творческие недочеты, поэтому мастерство ее растет и удача сопутствует.

Почти в одно время с Ларисой в литобъединении «Феникс» появилась Люба Феофанова, моя ровесница, закончившая факультет иностранных языков местного пединститута, которую сразу отличало умелое владение словом. Традиция и эксперимент легко уживались в ее стихах. Немного театральная, точнее, артистичная манера чтения стихов Любови Феофановой нравилась зрителям творческих встреч. Хрупкая, светловолосая, синеглазая, немного похожая на принцессу Диану, она держалась слегка отстраненно, но позже подружилась с Виктором Рубаном. Честно

говоря, меня удивляла дружба грубияна и бунтаря с почти иллюзорным эльфом, впрочем, их любовь к самоцветам многое объясняла.

Поэзия Любы внесла в наше литературное единение нежную сердечную материнскую нотку. Ее первый сборник назывался «Дочки-матери». Помню, как пришла она ко мне в гости и прочитала первый вариант поэмы «Елена», предварив чтение целым потоком смятения и сомнений: стоит ли писать поэму дальше. В «Елене» чувствовалось хорошее, сильное эпическое дыхание, поэму, стало абсолютно ясно необходимо, доработав, завершать, в чем я попыталась убедить взволнованную поэтессу.

Когда вышла книга, в которой была поэма «Елена», наполненная до краев любовью к родным, к земле российской, почти сразу отрывок из поэмы напечатали в одном из журналов, подтверждая мою уверенность, что Любовь Феофанова состоялась как поэт, способный не только на лирические признания и нежные эмоции, но и на развернутые эпические произведения, когда сердце автора вмещает и любовь к детям, мужчине, матери, и особую горячую приязнь к родной земле.

Бой с графоманами я часто принимала на себя – и вежливо и убедительно показывала таким авторам (с карандашом в руке) несовершенство их рифмованных признаний. Вредоносной традиции выслушивать бред графоманов прилюдно в нашем объединении так и не случилось. Подобные труженики пера и пишущей машинки, чаще всего довольно перезревших лет, уходили не солоно хлебавши. И, слава Богу, не возвращались.

Литературное содружество талантливых авторов – это не клуб любителей поэзии, где доклады о поэзии Демьяна Бедного и Эдуарда Асадова перемежаются с кособокими и подгорелыми литературными постряпушками собственной выпечки. Сочувствовать и потворствовать бездарным и безграмотным бумагомарателям преступно, поскольку тогда их число растет и множится в геометрической прогрессии – и уже не только публикации в газетах радуют «пиитов», они, благодаря дурной энергии бездарности, находят спонсоров и издают книги. И никому из спонсоров и издателей нет дела, что певучий, прекрасный русский язык уродуется, искажается до неузнаваемости легкомысленным и корявым пером. Вот поэтому грудью стояла против рифмованного слабоумия и бездарности, чтобы эта зараза не погубила нежные ростки таланта юных авторов.

Традиционные встречи прозаиков и поэтов в библиотеке на набережной превратились в литературную учебу, порой они не обходились без небольших литературных потасовок. Чаще всего спорщиков мог образумить только Юра Плеслов, он никогда не орал и не опускался до вульгарной ругани с товарищами. К его мнению прислушивались, потому что он говорил всегда толково и по существу, молодых ребят терпеливо выслушивал и давал им дельные советы, посвящал в секреты литературного мастерства и многих приобщил к поэзии Б. Пастернака.

Стихи Светланы Шуваловой, полные обжигающей страсти, любили юные девушки и приносили ей свои рифмованные откровения. Она очень деликатно анализировала «перлы» и, если видела искры таланта, пусть самые крохотные, показывала, как надо работать над стихами и усердно, до алмазного блеска, шлифовать строки. Сама Светлана, обладающая от природы поэтическим чутьем и великолепным музыкальным слухом, писала немного, но всегда упорно стремилась, чтобы в стихотворении не было ни одного неточного слова, ни одного фальшивого звука.

Александр Егоров и Борис Щербаков консультировали начинающих прозаиков, небольшие произведения которых иногда звучали в авторском исполнении на литературных встречах, а несколько позже их рассказы опубликовал «Простор».

## ПРАЗДНИКИ И СМЕХОТВОРЕНИЯ

Главное в любом сообществе – атмосфера общения. Помнится, мы общались друг с другом на равных, без унылого чинопочитания и прочих глупостей. Отбросив в сторону официоз, просто говорили о проблемах литературы, читали свои произведения, с интересом слушали обзоры новой литературы. Главный обозреватель, Лидия Григорьевна Миронова, полная статная женщина, волоокая, улыбчивая, с необычайно нежной и трепетной душой, за какие-то пятнадцать минут успевала охватить самые яркие подборки стихов в толстых журналах Казахстана и России и представить новые сборники стихов.

Иногда вместо обзора шел разговор о творчестве поэтов разных времен и народов. Нина Николаевна Цой, автор нескольких лирических стихотворений, сердечных и проникновенных, поведала о своем видении судьбы и поэзии Вертинского. В памяти остался ее пылкий рассказ о любимом поэте, она так волновалась, что порой одна фраза в спешке налетала на другую, но это странным образом не мешало, а напротив, сообщало рассказу некую трепетность и теплоту. Лариса Мартынова однажды с большим знанием дела рассказала о принципах и правилах японской поэзии, мы даже под занавес посочиняли трехстишья.

Смех – дело важное и необходимое, особенно после критических высказываний. При случае мы любили послушать эпиграммы Валерии Ивановой на себя любимых, смеялись над ее острыми и кусачими строками, иногда Света Шувалава писала смешные миниатюры, отталкиваясь от одностиший Вишневского, ее эпиграммы порой сердили адресатов, но остальная братия, как водится, бурно ликовала, иногда и я, грешница, читала смехотворения и пародии.

Мы пили чай, рисовали шаржи друг на друга, забавлялись игрой в буриме. На одном из таких вечеров меня так понесло вперед по горам и кочкам, что я принялась петь хулиганские частушки, Игорь Утешев, который сперва подыгрывал мне на гитаре, запечатлел этот забавный момент на фото: широко разведя руки (в одной – круглое зеркальце, в другой – помада), лихо так, с озорной улыбкой пою на дорожку разухабистую частушку:

Меня сватать приезжали  
На серой кобыле.  
Барахло мое забрали,  
А меня забыли.

По холодку, в октябре, затеяли осенний литературный бал, дамы явились в длинных платьях, особенно хороша была Светлана в красном гипюровом наряде. Пригласили бардов, замечательного исполнителя классической музыки на фортепьяно Леонида Бурова, который, как всегда, пришел во фраке, аккуратная черная «бабочка» у ворота белейшей сорочки придавала пианисту законченно светский образ. Ни очки в тяжелой оправе, ни полнота, ни декадентски небрежная прическа, – ничто не мешало еще до начала исполнения настроиться на возвышенный

лад; что-то было в его лице с мягкими, ласковыми чертами изначально неистребимо романтическое, от чего при первых же звуках «Лунной сонаты» дамская часть общества замерла, как перед полетом, все разговоры стихли. По сей день помню, как самозабвенно, с полной отдачей, играл пианист, за огромным, от потолка до пола, окном библиотеки кружились листья, вдалеке, у самого берега Иртыша, полураздетые березы трепетали на ветру.

Потом, по воле воздушной волны и только что угасшей музыки, поэты читали свои осенние стихи, барды пели, а Мельникова Нелли Ивановна, участница международного литературного конкурса, посвященного юбилею Пушкина, увлеченно рассказывала о поэте, об удивительных эрудитах, вышедших в финал, о том, как каждый этап состязания не только усиливал напряжение и конкуренцию соперников, но и дарил яркие впечатления, переносил в пушкинскую эпоху. Слушая ее, мы устремились сквозь время и тоже очутились в начале 19 века, увидели мысленным взором церковь, где венчался поэт. В заключение Нелли Ивановна спела (под собственный аккомпанемент на рояле) романс, который сочинила на мои стихи.

Какой бал без танцев? Сначала вальсировали юные артисты, участники студии бального танца, которые очаровали своей воздушной грацией всех присутствующих. После путешествия в девятнадцатый век и нам впору было танцевать нечто манерное и стародавнее, но зазвучала современная музыка, и все пошли в круг отчебучивать танец «кто во что горазд», причем и я не отставала от народа, хотя неудачный протез не давал разгуляться.

Балы, литературные праздники, концерты случались в ту пору довольно часто. Поэты без шуток, без маскарадов, без литературного хулиганства не умеют обходиться. Однажды, по договоренности с хозяином одного из крошечных кафе города, устроили некое полутеатрализованное действо в стиле поэтов Серебряного века: нарядные и веселые, шумной творческой компанией явились и заняли пару столиков в глубине кафе. Столы были пусты, как степь после засухи, мы надеялись хотя бы на кофе, но пришлось, порывшись в сумках, достать пару яблок и поделить, ибо надо ж было чем-то закусить принесенный кем-то догадливым и разлитый поровну коньяк. Выпили-то по глотку, но веселья было море.

Мы рисовали шаржи на салфетках, изощрялись в смешных экспромтах. Потом один за другим выходили к микрофону и читали стихи. Лена Кочнева спела «Трамвайчик троечка», гости кафе одобрительно зашумели, заплодировали.

Тут хозяин кафе, господин весьма носатый и грузный, повелел принести нам угощение: две порции несвежего оливье с синюшными желтками (на всю-то компанию в десять человек)! Нищие, но гордые поэты, едва скользнув взглядом по такому «роскошеству», пошли выплясывать под лихую «Сонечку» (как раз подошли ресторанные музыканты). В перерывах между танцами мы еще выступили у микрофона, народ хлопал, и мы были довольны.

Уходили из кафе одними из последних, хозяин заведения почему-то залебезил, засуетился, даже пытался помочь мне надеть пальто и несколько раз пригласил заходить еще. Смотрела на этого лоснящегося от жира восточного перца и молча насмешливо улыбалась. «Просчитался, дядя! А ведь могло получиться настоящее литературное кафе, с выгодой для тебя, крохобора, и с весельем и пользой для нас и для посетителей забегаловки». Так мы решили всей нашей шумной толпой и отправились, напевая: «Улица, улица, ты, брат, пьяна!», на соседнюю остановку автобуса.

## ЗИМНИЕ СТИХИ

Два года руководила литературным объединением «Феникс». У сына начинался трудный возраст, и я, загруженная домашними хлопотами (стирка, уборка, готовка на большую семью), обремененная делами литературными, переживала, что он всё больше замыкается в себе. Не перечит, не отлынивает от уроков, но почему-то часто печален и одинок. Спортивное ориентирование занятия волейболом немного укрепили его, ни в школе, ни в спортивных секциях друзей он не отыскал, домашние тираны и пьяницы, дядя и дед, его бесили, но деваться нам было некуда.

Летом двухтысячного готовила к изданию сборник «Сокровенное солнце», В. Шустер написал послесловие, доброжелательное, толковое, мы созвонились, как всегда веселым басом Владлен Мейрович оповестил, что скоро отбывает в землю обетованную, в Израиль. Ехать ему не хотелось, зимой он отметил шестидесятилетний юбилей и, внешне по-прежнему бодрый и энергичный, утратил задорный огонек в глазах, а после сердечного приступа однажды, в порыве откровенности, признался: «Раньше никакие болячки меня не трогали, я и другим товарищам хворающим не очень верил, когда они доставали жалобами на здоровье, теперь панически боюсь боли и смерти». Мы поговорили о его книге «Вечерний монолог», которая была уже на подходе, и Шустер, заверив, что обязательно соберемся прежней компанией до его отъезда, попрощался; почему-то защемило сердце, и спустя несколько дней навалилась муторная депрессия, за окном стоял жаркий август, а мне было холодно. Взяла тетрадный листок – и слова сами легли на бумагу:

Приходят зимние слова,  
когда душа полна покоя.  
Но ветер хладною рукою  
пытается печаль вливать  
в меня.  
Предзимняя тоска  
в беспечную влетает шутку.  
Еще смешно.  
но сердцу жутко,  
ладони в ледяных тисках.  
Всё не случайно.  
Ясный день  
вдруг места не найдет от горя.  
С душой всевидящей не спорю:  
скользит зимы сквозная тень.

Предчувствия не обманули, на другой день я узнала о смерти Владлена Мейровича – и тут же слегла на несколько месяцев. Не всякого родственника провожала навсегда с такой отчаянной печалью. Боль скручивала в бараний рог – и разговора быть не могло о дальнейшем руководстве объединением, вот и передала бразды правления Егорову Александру Ивановичу.

Книга Шустера вышла посмертно, он успел увидеть сигнальный экземпляр. Я лежала дома пластом во время его похорон, но сквозь боль услышала сти-

хотворение, посвященное его памяти, и тут же записала пляшущими в разные стороны буквами:

Поэты гибнут. Умереть нельзя,  
когда вся жизнь становится дуэлью.  
Сквозь годы пули медленно скользят,  
покуда ненависть не достигает цели.

Насквозь, навывлет! Словно только тень  
пробило темное гремучее злословье.  
Впадает тело в благодстную лень...  
дописано поминок послесловье.

Слова любви томительно горчат.  
Погиб поэт, расчетливо распятый.  
Его стихи вечерние звучат  
горячей болью раннего заката.

Ушел Шустер, и вместе с ним канула в небытие целая эпоха литературной жизни Восточного Казахстана. Возможно, поэтому я ощутила его кончину как трагедию. Но добрая душа Владлена всё видела и слышала, и он сам помогал мне выкарабкаться и выжить: временами среди приступов боли ко мне приходило вдохновение – и я вдруг начинала писать белые стихи и верлибры, которые любил Шустер, а я многие годы баловалась только нерифмованными миниатюрами в стиле японских трехстиший и пятистиший. Верлибры писались легко, словно сам Шустер диктовал их с небес. Так привыкла к этому «поэтическому сотрудничеству», что уже не пугалась странного присутствия его души рядом, больше того, «совместная работа» сгладила, приглушила тоску, и я уже знала, что рано или поздно поднимусь – и писала азартно как никогда.

Глядя на мое упорство, Господь оглянулся и послал мне чудесные дары к моменту выздоровления, когда, в день зимнего солнцестояния, 22 декабря я смогла спуститься в заметенный громадными сугробами двор. К этому дню мне сделали протез, подарили удобные опоры, и я, стоя на своих двоих, любовалась пышными сугробами, сверкавшими на солнце алмазными звездами, полнясь особой радостью, которая тотчас выплеснулась на листы, когда я вернулась с прогулки. Вдруг начала рисовать в странном непривычном стиле, пять рисунков, которые возникли из некоего измерения, создавались безотрывным движением руки, когда обычная шариковая ручка волшебным образом мгновенно изобразила дельфина, восточную красотку, птицеголового получеловека из странной бутылки. С таким азартом еще никогда не рисовала...

Вечером того же дня узнала, что готов тираж моей книги. Пока лежала не поднимаясь, успела написать новую книгу стихов «Письма на лепестках сна», и это оказалось небесным даром, никогда еще не жила в таком бурном и сильном стихотворном потоке, который пришелся ко времени. А после дня солнца рисунки хлынули таким водопадом, что меня буквально захлестнула волна творческого восторга, рисунки возникали как бы сами по себе, рука выводила непонятные знаки. Иногда рисунки и стихи, им созвучные, рождались одновременно, и это

было намеком небес, что будущую книгу нужно издавать с собственными рисунками. Тяжелое испытание завершилось воздаянием, так Господь умерил душевное страдание, утешил телесную боль и упрочил связь земного и несказанного.

Завершалось тысячелетие, новизной дышали сугробы. До финала судьбы еще далеко, впереди много неожиданных утрат. Не состоится обещанный землянам конец света 2012 года, цунами и сокрушительные глобальные катаклизмы прокатятся неоднократно по всей планете и по моей судьбе.

Но накануне нового века я уже жила в грядущем, непонятным образом перелетая через несколько десятилетий. Там я поселилась не одна, со мной жили недавно обретенные друзья – единомышленники, и, конечно, мы не ведали, как порой опасно принадлежать двум эпохам одновременно.

## МУДРАЯ СИЛА РАДОСТИ (вместо послесловия)

Мемуарная литература предполагает последовательное, основательное изложение фактов и событий на протяжении всей жизни, но жанр прозаического опуса «Картонный калейдоскоп» трудно определим. Нет и не было желания, впадая в подробности и детали, с документальной точностью перебирать артефакты собственной судьбы, картонный калейдоскоп, точнее, его звонкие, перетекающие друг в друга узоры, подсказали естественную художественно-документальную форму – и всё это превратилось в мемуарные новеллы-зарисовки, похожие на мои рисунки одной непрерывной линией.

Говорить обо всем – глупая затея, да и малоинтересная, «но нужно оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг, куски и части жизни целой отчеркивая на полях» (Б. Пастернак). Так и делаю. Судьба – только повод рассказать людям несколько страшных и веселых легенд о страданиях и неизбывной мудрой радости.

Запинаюсь о порог нового тысячелетия.

Жизнь моя вся в двадцатом,  
а двадцать первый век –  
лишь расставания даты –  
солнце меж сжатых век.

В этой книге нет полной документальности: власть факта редко побеждает силу вымысла и воображения. Рукопись сложилась как мозаика, спонтанно, почти как детская забава. Странно взрослеет человек, как матрешка, наращивая оболочки новых жизней, новых черт характера, но самая крохотная матрешка-ядрышко – основа личности и последующих преобразований. Если потеряется самая маленькая, неразъемная часть, ничем эту пустоту не заполнишь, поэтому часто проверяю, на месте ли моя детская матрица, потом смотрю в картонный калейдоскоп – и яркие разноцветные мгновения оживают, позванивая, – и вновь волшебство рядом с девочкой-старушкой.

Смешно, но судьба вмещает немало игр. Когда я осталась без работы в 1994-м, чем только не «забавлялась»: подолгу лежала в больнице, в неврологии, в травматологии, в кардиологии. Надо было выживать и растить сына, поэтому вдосталь «наигралась», сочиняя платные сценарии мероприятий для заказчиков, узнала из-

нанку публичных профессий, так как много лет подрабатывала в газетах, на радио, на телевидении, бралась за платные уроки поэтического мастерства.

Главное, не уставала играть со словом, во второй половине девяностых выпустила семь самопальных сборников, играла акварельными красками, летящими линиями мгновенных знаковых рисунков, цветными нитями рукоделья и, наконец, радугой самоцветов, когда помогала оптовику продавать ювелирные украшения. Копейка рубль бережет, вот так понемногу и удержалась на плаву.

Жизнь, преломившись на пороге тысячелетия, всё чаще одаривает лживыми презентами: утратами, отчаянием и страхом. Мне давно уже не двадцать семь и даже не сорок восемь, но внутренне я всё еще, как в двухтысячном, готова чувствовать биение пульса судьбы, играть ритмами и рифмами. Воображение не угомонилось, весенний ветер гоняет облака, домашние цветы ждут, когда я позабавлюсь пересадкой, а настырная кошка Няша не дает залежаться, стягивает одеяло, тычет мягкой лапой в нос: «Эй! Поднимайся, солнышко давно проснулось, разогнало вчерашние хмурые облака, птицы в небе играют в догонялки». Так с утра до ночи: заботы, друзья, события не дают угомониться и посидеть по-стариковски на солнышке, пощелкать семечки, посплетничать об угасающей жизни.

Ночью закрываю глаза и, как огни на елке, вспыхивают и гаснут отдельные моменты жизни, вспыхивают и гаснут особенные родные лица, дорогие сердцу судьбы. Смерти не существует (как убеждал меня, рыдающую, мудрый сын), поэтому я не одинока: рядом мама, меня с двух сторон обнимают Ромушка и верная подруга Лена, близко, глаза в глаза, упрямый, но и теперь любимый муж Алеша, а если приглядеться, неподалеку – все-все, кого люблю с прежней силой, за кого усердно молю Бога. Небесные края – не место для безделья, вечные души близких посылают нам во спасение добрые вести и предостережения.

Иногда, непогожей и долгой зимней ночью, мгновения судьбы, иллюзорные елочные мигающие огни, кажутся вечно сияющими самоцветами – и отчего-то теплеет на душе, и ширится, непонятная прежде, всеохватная любовь и нежность к союзникам и недругам, к силе родных просторов, к ласковой и грозной небесной обители.

Еще недавно бездумно бродила по дому, то и дело проваливаясь в пустоту, в некую пропасть времени. Потерять сына – всё равно что лишиться большей части души и тела, а если добавить ампутацию ноги, которая случилась в детстве, то получалось, что в живом, этом, мире от меня осталось совсем чуть-чуть... Только нераздельность зримого и невидимого помогает дышать, ведь сын где-то рядом, и иногда, если повезет, я точно знаю, где он стоит в моей комнате, «слышу» его мысли.

«Встречи» во сне и наяву случаются, когда, вопреки неизбежной боли, я радуюсь цветущей фиалке, когда вместе с казачкой Ниной Ершовой распеваю озорные частушки, когда, погрязнув в хворобах, как Мюнхгаузен, тяну себя за волосы из житейского болота и, чтобы взбодрить моих подруг, сочиняю смешные, почти хулиганские «бодрилки», когда нахожу силы знакомым страдальцам говорить о мудрой силе радости.

